



С. РОМАНОВСКИЙ

ОХОТНИЧИЙ РОГ

Издательство "Детская литература"





С. РОМАНОВСКИЙ

ОХОТНИЧИЙ РОГ

Рассказы

МОСКВА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 1979

Охотничий рог. Медь с серебром. Изгиб его изящен и подобен природному изгибу сосновой ветви, одетой в прозрачную кору. Ещё не согретый вашим дыханием, он прохладен и молчалив. Стукните пальцем в самый край его — рог отзовётся тончайшим льдистым звоном. Поднесите его к губам и затрубите, если умеете, — и рог откликнется, как лебедь в высоте, хрипло и певуче одновременно. И осенние леса с просеками и полянами, и поля с омётами и озимыми, и озёра с водорослями, упавшими на дно по случаю пришествия зимы, и родники по лесам и оврагам, и звери и птицы услышат его не частый ныне зов:

— *Человек на природе. Охотник.*

Значит, эта книга об охоте? Да, но не только. Об одной охоте, сколько бы приключений на ней ни случилось, написать невозможно. Так или иначе будешь говорить о людях, больших и маленьких, о мальчишках и девчонках с разными характерами, о вещах, к стрельбе никакого отношения не имеющих. И всё-таки, всё-таки — охотничий рог:

— *Человек на природе. Пахарь. Охотник. Рыболов. Грибник. Просто прохожий. Кто он по душе? С чем пришёл? Зачем он здесь?*

Труби, охотничий рог! Труби! Труби звонче! Тебя далеко слышно.

Рисунки Т. Васильевой



ДЯТЕЛ

Дятел спал в дупле, выдолбленном в старой осине.

Ночью прошёл дождь, капли стекали по листьям и перешёптывались, и на слух было похоже, что в ветвях перепархивают большие осторожные птицы. Дятел прислушивался к их лёту и не спешил покидать сухое убежище.

Ненадолго в лесу стало тихо, а потом запели птицы на разные голоса, и дятел высунулся из дупла. Утро ждало его, осиянное солнцем, дымящееся голубым дымом между деревьями.

Дятел огляделся, нет ли опасности, и бесшумно вылетел на волю.

Он держал путь на дальнюю поляну, где по закрайке высыхали берёзы и было чем поживиться, но по дороге присел на сосну, острыми пальцами прицепился к её коре и наудачу ударил тяжёлым, как долото, клювом.

Удары эхом отзывались по лесу — эхо раззадоривало барабанщика, напоминало ему весну, когда он хотел завести семью и, подзывая подругу, бил ещё громче и звонче по певучему дереву. Подругу он потерял — её утащил ястреб, и с тех пор, с весны, дятел жил один.

По признакам, только ему ведомым, он определил, что в этом месте искать бесполезно, личинок нет и они держатся выше. На пальцах, цепких, как железные «кошки» монтера, он поднялся к вершине, с трёх ударов добыл личинку, проглотил её и радостно забарабанил дальше.

Он барабанил, а головы не терял, время от времени прислушивался и присматривался к тому, что делается в лесу.

А в лесу было хорошо. Лес обсыхал, и повсюду от вершин и до корней жила в нём деятельная полезная жизнь. И набарабанившись вдосталь, не давая себе передышки, дятел снялся с сосны и полетел на дальнюю поляну с резким и счастливым криком:

— Кик! кик! кик!

На поляне в коленях между травами стояла вода. Дятел отразился в ней весь как есть — белой грудью, алым подхвостьем, пестринами на крыльях, — отразился, словно вспыхнул, розовый от восхода, метнулся в сторону к берёзам и погас.

Разлатая тень налетела на него, сбила с полёта, и, кувыркаясь в воздухе и теряя сознание, дятел успел вильнуть в куст орешника, заколотился на земле и затих.

Он очнулся от собачьего лая.

Близко перед собой он увидел оскаленную собачью физиономию и круглое мальчишечье лицо.

— Не тронь его, Дик! Кому говорят?

Осторожней осторожного, как воду из родника, в обе ладони мальчуган поднял с земли раненую птицу. Дятел слабо ворохнулся и услышал шёпот:

— Может, ещё жить будет.

Собака смотрела на птицу в руках хозяина и облизывалась.

— А облизываться зачем? — говорил мальчуган. — Неужели ты такой кровожадный?



Собака виновато елозила хвостом по земле, а облизываться не переставала.

— Облизывайся, облизывайся, а я с тобой разговаривать не буду.

Мальчуган нёс дятла, прижимая его к груди, и тот не шевелился, ждал, что же будет дальше.

А дальше было вот что.

Мальчуган принёс дятла на кордон, к дому в три окна, у которого молодая женщина косарём добела скоблила крыльцо.

— Мама,— сказал мальчуган,— я раненого дятла подобрал.

Она распрямилась, попросила:

— Покажи, сынок.

Вдвоём они разглядывали дятла, и он слышал их тёплое дыхание.

— Большой како-оой!

— Куда его ранило, бедовушку?

— Вон кровь на голове...

— Ты, сынок, его больше не трогай. Положи его в тихое место, червяков ему принеси. Отдышится — в лес его отпустишь.

— Я его в горницу посажу!

— Да хоть и в горницу. Дятел — самая полезная птица. Для такого гостя горницы не жалко.

— А ты, Дик, с нами не ходи. Кровожадный!

Дятел лежал как неживой, но по глазам его было понятно, что умирать он не собирается. В горнице мальчуган положил его на подоконник, поставил рядом блюдце с водой и пошёл копать червей.

А дятел отлежался, скок-поскок поскакал к лесу, который качался за окном, стукнулся о стекло, ничего не понял, заново кинулся к лесу, опять ударился о стекло, опаматовался и больше на волю скакать не пытался.

Что же делать-то?

С подоконника он перескочил на стол, а со стола на сервант.

Сервант был лакированный, и лапки скользили по нему,

как по льду, но дятел понимал, что это всё то же дерево, где могут быть и личинки, и червяки, и всякая другая благодать.

Почему бы не попытать счастья?

Он ударил клювом — брызнуло глянцевое дерево, и удар громко, как по лесу, прокатился по всему дому.

Хорошо!

Посмотрим, что там глубже.

Он бил и бил до тех пор, пока насквозь не пробил блестящее покрытие. Под ним обнаружилось полое пространство, и оно не удивило дятла. За недолгую жизнь в лесу ему не раз попадались дуплистые деревья, и сейчас он раздумывал, пробивать ли широкий леток в дупло или дальше искать питание?

Ладно, с дуплом можно погодить, а с личинками годить негоже, еда требуется.

— Господи, да что же это делается! — вбежала мать и закричала на дятла: — Кыш! Кыш!

Он заметался под потолком, пока не угнезвился в верхнем углу на полочке, где некогда была бабушкина икона.

Мать постояла около серванта и горько заплакала.

Пришёл отец, а за ним сын с банкой с червями.

Мать плакала и говорила:

— Мы его, — показывала она на дятла, — пустили честь честью, а он... Разоритель, сущий разоритель! На сервант три зарплаты ушло. Три зарплаты! Такие деньги в печку выбросили. Одна дорогая вещь в доме, и той конец пришёл.

Отец потрогал отверстие в серванте, поглядел на дятла и крикнул.

— Ничего, мать, — погладил он жену по голове, по вздрагивающим плечам. — Ничего. Заделаю дыру, закрашу, и будет сервант, как новый.

— Не будет... — И погрозила сыну: — Это ты всё, сердобольный. Всё ты!

Тот спрятал за спину банку с червями и повинно пробормотал:

— Нету...

— «Нету»! — передразнила мать. — И серванта тоже нету...

— Мать, — попросил отец, — не ругай ты Алёшу. Откуда он знал, что у дятла такие выходы?

— Мама, — подал голос Алёша, — ты сама его жалела и говорила, что он полезный. И червей велела нарыть.

Мать помолчала и сказала про дятла, который смирёшенько сидел на иконной подставке:

— Сидит и нисколько не переживает.

— Переживает он! — заступился за дятла Алёша.

— И не думает!

— Переживает.

Отец открыл все окна, и заходили по горнице весёлые сосновые сквозняки, потрогали пёрышки на дятле, и он, прослыша силы в себе, взмахнул крыльями и вылетел в окно.

Воля!

В лесу он нашёл старый пенёк, начинённый личинками, наелся досыта, ночевать остался в запасном дупле и вроде бы насовсем забыл про встречу с людьми, заснул её.

Насовсем ли?

Он жил в просторном, как степь, лесу, где люди были в редкость, и иногда дятла разбирало любопытство, как там его знакомые на кордоне, здоровы ли? Ничего плохого они ему не сделали, вроде бы даже добра пожелали, только шумели в три голоса.

Нет-нет да и прилетал он сюда, к тихому кордону, садился на сосну, начинал барабанить и выглядывать из-за ствола, не выйдет ли кто-нибудь на барабанную дробь.

Никто не выходил, и думал дятел, что на кордоне людей не осталось — были, да сплыли.

Но однажды...

Только он устроился на сосне у самого двора и ударить клювом ещё не успел, как увидел внизу всех четырёх: мать, отца, Алёшу и собаку Дика.

Дятел замер, затаился и не знал, что делать, улетать или погодить.

Признал его Алёша.

— Наш дятел! — обрадовался он.

- Ну да,— не поверил отец.
- Наш: у него на голове отметины.
- Я никакой отметины не вижу,— сказал отец.

А мать ничего не сказала, только рукой чуть махнула: не напоминайте, мол, мне про него, про разорителя, не расстраивайте. И украдкой посмотрела на дятла, что затаился весь на виду, на людях.

Дятел дал себя оглядеть, послушал человеческие голоса, повизгивания собаки и не спеша, с видом чрезвычайно занятым, полетел в глубину леса, сопровождая свой полёт коротким распорядительным криком:

- Кик! кик! кик!

ПОЕХАЛИ С ОРЕХАМИ

— Ты чего так рано встал? — мать шёпотом укоряла Алёшу.— Спал бы ещё да спал. Я ещё корову не доила.

С закрытыми глазами Алёша ткнулся лицом в наспанное лицо матери: вставай, мол, вчера договаривались рано пойти по орехи, пока Старуха всех их не выбрала.

— Не выберет раньше нас Старуха,— шептала мать.— Не унести ей все орехи на себе.

— Встава-аай...

— Встаю.

Мать подоила корову, процедила молоко, подала кружку сыну.

— Алёша,— спросила она,— ты зачем пьёшь с закрытыми глазами? Кружку мимо рта пронесёшь.

— Не промахивался ещё ни разу.

— Тихо: отца не разбуди. Он вчера поздно лёг. Поздно с обхода пришёл.

С корзинами они вышли в лес. После домашнего тепла там было холодно, солнца не видно, папоротники по сторонам тропинки огружены росой, и Алёша скоро промочил ноги. Хотелось ему по малолетству пожаловаться, что ноги у него

в росе, но он молчал — боялся, что мать отправит домой. И шёл он от неё в отдалении, как бы она не услышала, что у него хлюпают башмаки.

А когда пробрались к орешнику, Алёша услышал, что и у матери хлюпают башмаки, и подумал:

«Теперь не погонит домой. Теперь ей самой впору домой идти».

Орешник есть, а орехов нет. Что делать-то?

— Поздно пришли, — вздохнула мать. — Старуха все орехи выбрала.

— Эх, ты! — удивился Алёша. — Когда же она успела?

Про Старуху он слышал давно, а видеть её не приходилось. И загодя боялся её Алёша, потому что мать не раз варивала:

— Будешь баловаться — Старухе отдам.

И ещё мать рассказывала, что от Старухи не спрячется ни одна ягода, ни один самый маленький гриб — сквозь землю увидит и в бутылку спрячет.

— Пойдём к Орехову оврагу, — сказала мать. — Может, раньше её успеем.

Сквозь листья солнышко дотронулось до Алёшиной щеки и пропало, будто отдёнуло тёплую руку.

— Верно ли мы идём? — спросила мать и сама же ответила: — Утром надо так идти, чтобы солнце вот в это ухо светило.

Алёша запомнил, в какое ухо, и даже дёрнул за него, так что ухо загорелось.

Теперь не заплутаешься.

От матери он не отставал и время от времени держался за своё ухо. И на солнце поглядывал, здесь ли оно?

Здесь. Куда оно денется?

Кто это по верху-то бегают? Белка. Устроилась на ветке, хвост стоймя стоит. В передних лапах орех держит. Ловко так разделявает его, как строчит зубами. И на Алёшу смотрит одним глазом.

Глаз большой, круглый, и умный глаз. Вроде бы хочет сказать белка:

«У вас орехов нет, а у нас есть. Показать, где они?»

«Покажи», — думает Алёша.

И ещё ему хочется спросить у белки, есть ли у неё родня, братья, сёстры, и кто она — хозяин или хозяйка? И в каких годах — малолет или среднего возраста?

Алёша подошёл поближе, а белка от него на другое дерево. Он за ней. Она от него.

Белка по тонким веткам скользит до того быстро, как мысль, — они прогнуться не успевают, только соберутся, а белки уже нет. Один раз она просеку перемахнула — Алёша даже зажмурился от страха: не допрыгнет, расшибётся белка. Открыл глаза — жива, качается на ветке по ту сторону просеки.

Алёша побежал к ней, запнулся за сосновый корень, упал, ушибся, встал на ноги.

Нету белки. Куда она подевалась?

А идти куда? Солнышко-то хоть есть?

Есть. Вон оно. Которое ухо ему подставлять — то или это? Которое сильнее горит, то и подставлять. То-то и оно, что оба одинаково горят.

— Мама-ааа! — что было сил крикнул Алёша, и лес тотчас откликнулся:

«А-аа-ааа!..»

И тихо стало. Тише тихого.

— Ау-уу-ууу!..

Обмер Алёша. Мать зовёт его. Слышно, как идёт она по лесу. Ветви разомкнулись, и увидел Алёша Старуху.

Стоит перед ним Старуха с большой корзиной, сама росточку невысокого, чуть выше Алёши, лицо коричневое, а в корзине у неё с верхом орехи — белые в зелёных обоямах.

— Здравствуй, — сказала Старуха. — Здравствуй, внучек! Чего не здороваешься-то?

Алёша разлепил губы и прошептал:

— Здравствуй...

— Не слышу: глухая стала. «Здравствуй»-то ты сказал мне?



— Сказал...

Лёгкой ладошкой Старуха погладила его по голове, заглянула в Алёшину пустую корзину, спросила:

— Один по орехи-то пошёл или с матерью?

— С матерью...

— Дай-ка я тебе орехов отсыплю, пока мать не видела.

Она насыпала ему в корзину орехов, достала из кармана стёганки кусок хлеба, обдула его, подала Алёше:

— Поешь маленько.

С испугу он принял угощение, через силу стал есть чёрствый несолёный хлеб. Он ел и наказывал себе:

«Хочу, не хочу, а есть надо: Старуха обидится».

Из кустов вышла мать, нехотя поздоровалась со Старухой и накинулась на Алёшку:

— Куда ты убежал, непутёвый! Обо мне ты думаешь или нет? Из этого леса можно и не выйти. Из него много людей не выходило.

— Ты его шибко-то не ругай,— попросила Старуха.

— Я разве ругаю? — удивилась мать.

Алёша набрался храбрости и спросил Старуху:

— Говорят, ты все орехи из леса уносишь? До того ты мастерица на орехи!

— Это кто говорит-то? — засмеялась Старуха, и стало видно, что зубы у неё белые и ни одного плохого нет.— Вы к вершине оврага ступайте,— посоветовала она.— Там самые орехи.

По глазам Старухи было видно: не хочет она, чтобы они уходили, соскучилась старая по разговору, по людям.

— Я тебе загадку загадаю,— сказала она Алёше.— Без окон, без дверей, посредине архиерей. Что это такое?

— Кто это — архиерей? — спросил Алёша.

— Это поп,— объяснила мать.

Алёша подумал, доел Старухин хлеб и вздохнул.

— Не отгадать мне эту загадку.

— Это орех,— сказала Старуха с грустью.— Ядрышко-то у него сытое, гладкое, как архиерей. В темноте сидит. А окон и дверей нету...

— Ладно,— перебила мать.— Пошли мы. До свидания.
— С богом.

Алёша украдкой обернулся. Старуха смотрела им вслед, и солнце, пробиваясь сквозь листья, прохаживалось по ней неяркой рябью. И показалась она Алёше маленькой, меньше его ростом.

Мать тихонько говорила:

— ...И никаких орехов в верховье оврага нету. Разве она скажет, где настоящие орехи? Для себя, всё для себя бережёт. Знаю я её, вот с таких лет знаю.

В верховье оврага густо росли орешины. Только мать с Алёшей спустились в зелёный полумрак, их с головы до ног окатило холодным росяным проливнем.

Мать и сын счастливо засмеялись.

Зыбилась над ними крыша из ребристых зелёных листьев; солнце то ли в той, то ли в этой стороне: не может оно пробиться сюда на дно оврага, в сырые потёмки. А орехов-то, орехов-то сколько! Их и глазами видеть не надо, а руками, ощупкой обирать с мокрых тугих ветвей плотные ореховые гнёзда.

Алёша обирал-обирал в корзину, да и не выдержал — зубами достал орех из зелёной обоймы, сморщился, до чего же кислая она, эта самая обойма, всего кислотой пробирает, с громом разгрыз орех и залюбовался ядрышком: такое оно чистое, будто из сметаны, ядрёное, окатное.

Алёша напомнил матери:

— Старуха-то правду сказала: все орехи здесь!

Мать промолчала.

Домой принесли полные корзины орехов, и до поздней ночи мать, отец и Алёша перебирали их, очищали от обёрток, крупные складывали к крупным на противни, а противни — в печь.

— Орехи-то как яблоки,— хвалил отец.— Где собирали?

Мать отвечала:

— В верховьях Орехового оврага.

— Их Старуха нам показала! — с торжеством прибавил Алёша.

— Это какая Старуха? — спросил отец. — Это грибница-то? Одна она, никого у неё не осталось. — И показал рукой от пола: — Маленького такого росточку?

— Она, — подтвердил Алёша. — Она нам самые орехи показала!

— Ну показала и показала, — недовольно возвысила голос мать. — Что теперь — ура кричать?

Сказала, а у самой глаза улыбнулись — видно, понравилось ей своё выражение: «Что теперь — ура кричать?»

А может быть, по какой другой причине улыбнулись у неё глаза, кто знает?

— Спать пойдём, — сказал отец. — Завтра рано вставать, в обход идти.

Он погасил лампу. Тихо-тихо стало в избе. Только слышно ровное дыхание отца и матери.

В эту ночь Алёше снилась Старуха. Она гладила его по голове и говорила: «Поешь маленько...»

ЗАГАДАЮ ЗАГАДКУ

В третьем классе загадывали загадки. Загадки мог загадать любой ученик или учительница Светлана Николаевна, а отгадывали все.

Никита-троечник надул толстые щёки и выпалил:

— По горам, по долам ходят шуба да кафтан!..

Класс воспрянул:

— Овечка!

— Не овечка, а баран.

— Не всё ли равно?

— Такие загадки в детсаду загадывают, а не в школе.

Никита-троечник покраснел и спросил:

— А какие в школе?..

Класс затих. В самом деле, какие?

Тут Алёша вспомнил хитрую отцову загадку и тихим-претихим голосом спросил:

— Какие часы дважды в сутки показывают точное время?

— Громче! — потребовал класс.

Алёша повторил громче.

На некоторое время класс задумался, а потом посыпались отгадки:

— Кремлёвские!

— Скажешь тоже: они всегда верное время показывают.

— Солнечные часы!

— Нет, не солнечные, а эти... Песочные!

— Почему песочные?

— Почему?..

Алёша терпел-терпел, не вытерпел и, ликуя, выкрикнул ответ:

— Те часы, которые стоят!

Класс замолк.

— Неостроумно,— подала тонкий голосок Людмила-отличница.

— Почему неостроумно? — удивилась Светлана Николаевна. Она стояла у окна и прислушивалась к каплям дождя, что наискось, едва касаясь, редко-редко падали на стекло.

— Непонятно,— поправила Людмила-отличница.

— Это другое дело,— сказала учительница.— Неостроумно и непонятно — слова совершенно разные. Кто объяснит отгадку? Может быть, ты сам, Веригин? Только громче говори.

Алёша встал, вспомнил, как у них дома на кордоне остановились часы, отчего он проспал и опоздал в школу.

— У вас есть часы,— рассказывал Алёша.— Они остановились в седьмом часу утра...

— Почему в седьмом? — усомнился Никита-троечник.

На него зашумели:

— Никита, не перебивай!

— Допустим, в седьмом,— улыбнулась Алёше Светлана Николаевна, и он начал с самого начала:

— У вас есть часы. Они остановились, допустим, в седьмом часу утра. Два раза в сутки они будут показывать самое точное время — в седьмом часу утра и в седьмом часу вечера.

Класс недружно согласился:

— Как просто-оо...

— Утка в море, хвост на заборе,— завёл было новую загадку Никита-троечник, но на него опять зашикали:

— Никита, ты детские загадки не загадывай!

— Просили тебя... Не понял, что ли?

— Лучше помолчи!

А Светлана Николаевна, про которую все позабыли, смотрела в окно и, когда класс поутих, сказала невесело:

— Нет настоящего дождя. А надо бы... Как нужен сейчас полям хороший тёплый дождь. Как он нужен!

— И не будет его?..— спросил Алёша в тишине.

— Не знаю,— негромко ответила Светлана Николаевна.— Собирается и всё никак не может собраться.— И тряхнула головой: — Хотите мою загадку?

— Хоти-иим!

— Когда в году столько дней, сколько у человека глаз?

— Как это? — недоумевал Никита-троечник.

Учительница терпеливо повторила:

— Когда в году столько дней, сколько у человека глаз?

— В феврале! — тут же выпалил Никита-троечник, но под расстроенным взглядом Светланы Николаевны потупился и поправился: — В сентябре... А может, и в марте...

Класс думал обстоятельно. Кто-то писал в тетрадь, кто-то переговаривался одними губами — по делу переговаривался, по отгадке советовался.

Встала Людмила-отличница и объявила:

— Светлана Николаевна, я отгадала вашу загадку. Первого января в году бывает один день. Второго января два дня. Столько, сколько у человека глаз.

Класс только охнул:

— Ну и Люда!

— У тебя не голова, а Дом Советов!

Похвалила её и Светлана Николаевна:

— Молодчина!

Она открыла окно и сказала:

— Совсем перестал дождик. Гремит по лесам, по оврагам, где и посевов-то нет, а на поля не заглядывает.

Ребята слушали учительницу молча. Из окна дышало земляной пылью, чуть окроплённой дождём.

— Пыль даже не прибило, — вздохнула учительница.

Никита-троечник пожаловался:

— А по радио обещали ливневые дожди. Так и говорили: в эти числа будет много дождей. Придумщики!

Его не перебивали, слушали.

— Грозный ты какой нынче, Никита, — улыбнулась учительница. — Никита-воин.

Все засмеялись, а учительница прибавила:

— День-то ещё не кончился.

Глаза у неё стали весёлыми, и она сказала:

— Загадываю вам самую трудную загадку. Летела стая гусей. Навстречу гусь. «Здравствуйте, сто гусей!» — «Здравствуй, гусь! Только нас не сто гусей». — «А сколько же вас?» — «Сколько нас? Столько. Да ещё раз столько. Да ещё полстолько. Да ещё четверть столько. Да ты, гусь, с нами. Вот тогда будет сто гусей». Гусь задумался, сколько же ему встретилось товарищей? Подумайте и вы.

Никита-троечник считал, загибая пальцы. Алёша старался в уме наугад найти отгадку, но дальний гром мешал ему думать. А Людмила-отличница не слышала ни грома, ни шорохов в классе, а быстро-быстро писала в тетрадь.

— Я решила! — сказала она. — Тридцать шесть гусей!

Очевидно, Людмила решила задачу-загадку про гусей путём уравнения. В самом деле, если количество гусей принять за x , то можно составить следующее уравнение:

$$x + x + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}x + 1 = 100.$$

Решить это уравнение довольно просто. Приводим к общему знаменателю:

$$4x + 4x + 2x + x + 4 = 400.$$

Неизвестные в одну сторону, известные в другую: $11x = 400 - 4$.

Стало быть, $11x = 396$. Теперь остается 396 разделить на 11, и мы получаем искомое — 36. Тридцать шесть гусей встретились гусю-одиночке.

Если тебе это объяснение показалось непонятным, не огорчайся: у тебя всё впереди. Пройдёт немного времени, и решение этой задачи тебе покажется проще простого.

Класс зашелестел, вычисляя про себя, правда ли тридцать шесть гусей и ни на одного больше или меньше?

Никита-троечник тоскливо протянул:

— Опять правильно. Ты, Людка, эту загадку раньше зна-аала...

— Эту я не знала! — вспыхнула Людмила-отличница. — Я ту раньше знала. Когда в году столько дней, сколько у человека глаз.

В классе стало тихо.

Тут и звонок прозвенел — последний урок кончился.

Ребята высыпали на улицу.

За ней сразу же открывалось поле.

Грохотало глухо по закряям неба, по синим лесам, и нет-нет да не в лад с громами вспыхивали белые молнии. А с полей тянуло горячим ветром сухой исстрадавшейся земли.

«Что это они? — думал Алёша про ливни-проливни. — Ходят вокруг да около, а на поля не пожалуют?»

Будет дождь или нет?

Алёша украдкой посмотрел на Светлану Николаевну. Её лицо было как будто спокойным, только очень усталым. Алёша простился с ней и зашагал домой.

«Тоже они устают, учителя-то, — думал Алёша в пути. — С нашим братом устанешь! Она одна, а нас тридцать. Она два слова скажет, а мы шестьдесят. Какие нервы надо иметь! А тут ещё забота: дождя нет. Вот и усталость».

Так размышлял Алёша, шагая по мягкой дороге на кордон, навстречу лесу, над которым мигали молнии и перекачивались громы с подгромовниками.

И веяло из леса запоздалой свежестью.

ВЕРТОЛЁТ

Лес расступился перед Алёшей и открыл поляну в высоких, по плечи, травах, в цветах, истекающих мёдом, по которым ползали пчёлы.

Пчелиный гуд был густ и деловит, и мальчуган не



шевелился, как цветок, чтобы не мешать пчёлам работать, и собрался было отступить в лесные потёмки, как над головой загрохотало.

Над поляной, закрыв её всю тяжёлой тенью, повис вертолёт, и цветы и травы закрутились воронками.

Вертолёт обдал Алёшу с головы до ног нагретым воздухом и опустил железным брюхом в мягкие травы.

Алёша собрался было бежать со всех ног — он первый раз рядом видел вертолёт, но не побежал.

Вертолёт, как огромная пучеглазая лягушка, сидел в травах, а над ним, по-стрекозиному взблескивая, крутились лопасти.

«Рассмотрю его как следует, а после убегу, — решил Алёша. — Что он мне сделает?»

Открылась железная дверь, и на поляну выбрался лётчик — румяный мужчина в синей форме. Лётчик снял фуражку, вытер лоб и сказал:

— Ясное море.

Алёша ждал, что же лётчик скажет ещё.

— Мальчик, — попросил лётчик, — иди сюда.

Путаясь в высокой траве, Алёша подошёл, но не очень близко.

Лётчик сорвал травинку, обвёл ею поляну и спросил:

— Это Лещёвый лог?

— Нету...

— А что же это?

— Поляна...

— А где Лещёвый лог? — удивился лётчик, и не успел Алёша ответить, как лётчик хлопнул себя по глазу, зажал глаз ладонью.

— Ясное море, — простонал он. — Пчела ужалила! Вот оно жало, как заноза... Из нижнего века вынул. Теперь на танцы не пойдёшь — с одним глазом. За что это она меня?

Алёша набрался смелости и объяснил:

— Пчела не любит, когда от человека пахнет. Она особенно пьяных не любит.

— А я трезвый, — обиделся лётчик. — Я на работе вообще

не пью. Разве что одеколоном от меня пахнет. После бритья. Ладно, что теперь сделаешь? С одним глазом дальше полетим. Ты только покажи мне, где Лещёвый лог?

— Вы на солнышко летите, — махнул рукой Алёша, — и сверху увидите Вятский залив — Паползиху. Паползиха повернёт направо, тут и будет прогалина — Лещёв лог.

— Узнаю я его?

— Должны.

— А ты узнаешь?

— Я-то? — переспросил Алёша. — Я по воздуху не летал. Лётчик отнял руку от глаза — глаз запух, и от него осталась узкая щёлка — и жалостно спросил:

— Ужасно я некрасивый стал?

Алёша подумал и ответил:

— Хороший вы...

— На танцы мне теперь нельзя идти? — допытывался лётчик.

— Не знаю, — тихо ответил Алёша. — Мы на танцы не ходим.

Лётчик помедлил немного, прежде чем садиться в машину, оглядел поляну и объявил:

— Мы поехали.

У Алёши замерло дыхание.

За свою жизнь, за свои одиннадцать лет выше Козьей горки он не поднимался. Конечно, и с Козьей горки далеко видно: наравне с тобой летают ласточки; пониже по красным крутостям ходят козы, как только не сорвутся, собирают травку; ещё ниже круглятся тополя; а на самом низу ходят люди — маленькие, смотреть на них боязно. А высоко над тобой, синевя днищами, плывут облака. Вот бы подняться к ним и взглянуть на землю оттуда, с самого верха! Нынче весь мир летает на крыльях, и большие, и маленькие, а он, Алёша, живёт на кордоне и к облакам не поднимался. Да и придётся ли когда?

— Дяденька, — попросил Алёша, — возьмите меня с собой! Мы там недалеко живём... Подвезите!

— О чём разговор.

Лётчик посадил Алёшу в вертолёт, в тёплое металлическое нутро, где под потолок громоздились ящики, а перед кожаными креслами было много приборов со стрелками и цифрами, плотно, как в избе с морозу, захлопнул дверь, усадил мальчугана в кресло, сам сел рядом, поколдовал над приборами...

Вертолёт задрожал, затрясся, как трактор на пахоте, и столбом поднялся над поляной на высоту Козьей горки.

Выше, ещё выше!

Лес уходил вниз и раздавался вширь зелёным половодьем. Поляна стала с горошину, и песчаными жилками по лесу бежали просеки и дороги.

Вертолёт вошёл в облака. Рядышком они были не белыми, а серыми, как осенний туман, и, казалось, скреблись о стекло, просились погреться, о чём-то поговорить, пошептаться. Вертолёт вынырнул на поверхность, и распахнулось просторное, без изъяна, синее небо и пылающее солнце на нём.

— Это космос? — прокричал Алёша лётчику.

— Космос выше!.. — ответил лётчик. И нагнулся к Алёше. — В космос мы не попадём: там воздуха нет. Винтам не за что цепляться.

Алёша хотел ещё спросить о космосе, но не спросил: он увидел облака. Внизу снежным полем распласталась облачная равнина.

«Да и не поле это вовсе, — с восторгом думал Алёша, — а Северный Ледовитый океан! Он, наверное, тоже такой. Только по нему ледоколы ходят, а по облакам самолёты и вертолёты. Конца-краю нету океану! Как блесит всё, как сверкает... Тени какие, ущелья... Так бы и прошёлся по облакам пешком. Да не выдержат они меня, хоть я и лёгонький. А пешком по ним пройти всё равно охота».

— На солнышко маленько полетите, и — вниз! — прокричал Алёша лётчику.

Тот кивнул.

Океан полыхнул под солнцем и потемнел — вертолёт опускался, и облака опять цеплялись за него и просились в тепло.

Показался лес в песчаных жилках просек и дорог, и



в нём заблестел Вятский рукав — Паползиха. Замерла, не шелохнётся смирная вода в зелёном затенении деревьев.

— Вон Лещёв лог! — закричал Алёша.

Вместе с лесами и водами земля накренилась, завалилась набок, и крик застыл у Алёши в горле. Мальчуган впился пальцами в кресло. А земля перевалилась на другой бок, вся, как есть, ничего не рассыпала, не обронила, ни капли не расплескала из Вятки и её рукава Паползихи.

А потом всё выровнялось, и внизу Алёша увидел рыжую растрещину, что от воды неглубоко вдавалась в толщу леса, — Лещёв лог.

Вертолёт завис над логом, перебирая быстро-быстро сквозными своими крыльями за спиной, колёсами неловко ткнулся в дернину, так, что Алёша чуть не вылетел из кресла.

— Ясное море, — сказал лётчик.

Он первый выбрался наружу, принял Алёшу на руки, поставил на землю.

— Из тебя хороший лётчик выйдет,— похвалил он. И пообещал: — А на танцы я всё равно пойду! У стенки танцевать буду — запухшим глазом к стенке. Никто ничего не поймёт... Вон мои ребята идут,— восторженно воскликнул лётчик.— Геологи. Нефть ищут. Я им продукты привёз. Пойду разомнусь, встречу ребят.

Сюда с верховьев лога шли люди в зелёных штормовках, и лётчик не торопясь двинулся к ним навстречу.

Алёша поблагодарил его в спину:

— Спасибо.

Спина, видимо, не расслышала.

Алёша побежал домой.

После полёта его качало. Мальчуган добежал до леса и лёг ничком на землю, на хвою с шишками, переждал головокружение, перевернулся на спину и засмотрелся на облака в просвете между соснами.

Облака плыли, прижимаясь друг к другу, и отсюда из июльского леса они виделись Алёше прохладными и неразгаданными.

«Хорошо там у вас,— думал он.— Хорошо. Жалко, не рассмотрел я всё как следует. Времени не хватило. А в небе побывал. Первый раз побывал в небе!»

Сосны переговаривались над ним, будто бы дотрагивались до облаков, понимали и принимали их, и угадывалась в этом разговоре спокойная радость жизни.

ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН

Я сидел на сидке в головке озера Светлая Мершина и ждал вечернего пролёта уток. Сидел я на кочке, закрытой со всех сторон осокой, и время от времени вытягивал шею — смотрел, нет ли новостей на озере. На коленях у меня лежало старинное курковое ружьё с длинными стволами. Било оно крепко, если бы не одно обстоятельство... С собой у меня

было три патрона, три гильзы из меди, закопчённые от частого употребления. Две из них по нехватке пороха были снаряжены вползаряда и находились в стволах. Третий же патрон, залитый парафином для кучности, был снаряжён в полную силу, хранился у меня в кармане, и я с удовольствием ощущал его надёжную тяжесть.

Сидел я тихо, как и полагается в таких случаях.

В лицо мне веялся горький запах болота: головка озера зарастала, но кое-где были окна открытой воды. А по ту сторону стеной стояли камыши, и была там топь непролазная. Это я изведаль на своём опыте, потому что не единожды пытался подобраться к озеру с той стороны и всегда безуспешно. Там могли держаться утки, и я ждал, что они помимо прилёта выплывут на чистоводье из камышей.

«Убью парочку уток, — думал я, — повешу на пояс и за-светло, чтобы все видели, пройду по городу. Когда утка висит на поясе да разбросает крылья — больше себя кажется». Как-то я убил чирка, пронёс его по городу, и все хвалили и говорили: «Хорош крикаш, только молодой. Но лётный!» Я не спорил. Я же не обманывал никого, я только не спорил!

Я улыбался от воспоминаний, и прямо передо мной на оконце опустился чирок-свиистунок, расплескал его и стал охорашиваться. Солнышко, уходя, освещало его красные щёки, блестящие глаза, чёрные с зеленью зеркальца на крыльях, и был он весь ладный, сытый, видно, вернулся с кормёжки на полях и ни сном ни духом не чуял опасность.

Я встал на колени, хорошо прицелился и выстрелил из левого ствола. Чирок чуть дрогнул. Я выстрелил из правого ствола. Чирок отряхнулся от дробы, как от дождинок, поднялся в воздух и, сверкнув белым исподом крыльев, полетел на другое озеро.

Он, наверное, и не понял, что произошло.

Я застонал.

Мои выстрелы просекли ложбину в осоке, кружился ис-сечённый дробью, рванный лист, а я стонал от неудачи.

Промаяхнуться, да ещё с двух выстрелов, я не мог — тут близко. Конечно же, я попал в чирка, накрыл дробью, но

по нужде слабые заряды мои ничего ему не сделали, не пробили осеннее тугое перо.

Я вынул из стволов тёплые гильзы — они дымились и пахли порохом, — спрятал их в карман, зарядил левый ствол последним, по-взрослому снаряжённым патроном и стал ждать.

«Теперь только бы не промахнуться, — думал я. — Этот заряд настоящий. Он не только утку — глухаря свалит».

Мало-помалу я успокоился и рассуждал про себя дальше:

«Как я по такой холодной воде утку достану? Заморозки начинаются, плавать нельзя, простынешь, а лодки на озере нет. Ветра бы, чтобы убитую утку волной подогнало».

Озеро засыпало. Оконца стали розовыми; потом червонными, чуть прочеканенными осторожным чеканщиком; потом лиловыми и засветились сонным стеклянным светом; готовясь встречать ночь, они померкли, но не потухли, а всё выбирали для себя должной силы свет, всё менялись и остановились на неярком блеске. Они словно бы подёрнулись тончайшим, не толще паутины, ледком, и он блестел в темноте.

От моего дыхания шёл пар столбом. От лёгкого шевеления осока похрустывала — её схватило морозцем. Озеро молчало, и молчали окрестности, ожидая чего-то. Вкрадчиво затевался туман — от воды, от земли, от осоки. Он не густел, а только заявлял о себе: я не тороплюсь, я соберусь к полночи, к утру.

Камыши на той стороне раздвинулись, беззвучно показала белая зыбкая фигура и спросила меня:

— Кто ты такой?

Камыши сомкнулись, и фигуры не стало.

Тишина.

Я чуть не вскрикнул от страха.

Следующим движением моей души было желание выстрелить туда, где только что показывалась фигура. Но я не выстрелил — я испугался. Я не мог понять и до сих пор не пойму, кто это был. Человек? Ни в коем случае. Там топь непроходимая, и даже если бы чудом туда пробрался человек,

то без шума и плеска сделать это невозможно. А здесь тишина, тише тихого. Птица? Выпь? Но фигура куда больше самой большой птицы. Привидение? Но они бывают только в сказках. Я подал из осоки голос:

— Эй! А ты кто такой?

Громкое эхо отозвалось со всех сторон, и мне стало жутко. Я поднялся на ноги и, не оборачиваясь, с кочки на кочку, убыстряя шаги, пошёл прочь от этого места.

Выбрался на твёрдую от морозца дорогу. Передохнул. «Показалось...»

Я спешил к городу по гладкой, среди лугов, укатанной до ремённого блеска дороге. Впереди расплывались в неясные радужины городские огни. Нет-нет да и показывалась луна.

Я почти бежал и никак не мог согреться.

Что это?

Я замер у тальников.

Гусиный гомон катился в небе, и была в нём радость от сознания воли у себя на северной родине, с которой приходится прощаться. Гомон нарастал, шёл обвалом, и я увидел птиц.

Они шли невысоко над лугами, осиянные светом луны, и не видели меня в тени придорожного тальника.

Сгоряча я позабыл, что у меня только один патрон, взвёл оба курка, повёл стволами вдоль гусяного строя. Птицы ускользали, и, высоко задрав ружьё, я метился в последнего гуся. Я нажал на передний спуск — щёлкнул курок, на задний — из ружья с громом выплеснулось рваное пламя, озарило колеи и отаву за ними.

Гусь покачнулся в воздухе, вздрогнул крыльями, остановился, словно раздумывая, лететь дальше или погодить, и обрушился на землю.

Я взял добычу в руки и протянул:

— Тя-аажесть!

На вялой гусяной шее, закатываясь в ягоды, темнела кровь. Когда я прилаживал птицу к поясу, кровь осталась на моей стёганке. За пояс устроить птицу не удалось —

тяжела, и я понёс её за спиной: на одном плече ружьё, на другом гусиные лапы.

А что, вид вполне боевой!

Навстречу наплывали огни города.

В лад шагам в горле просилась песня, и я выбирал, какую бы запеть, и выбрал песню про войну.

И не мудрено, что про войну. Тогда шла настоящая война с голодом и холодом, был я мальчишкой худым, как заяц. На охоту ходил не для забавы, а для пропитания. Боеприпасов у меня было мало, и вы поймёте мою радость от добытого гуся, которым, если не предаваться чревоугодию, можно три дня кормить большую семью.

ЧЕРЕМУХА С БЕЛЫМИ ЯГОДАМИ

В посёлок Красный Бор, как и во все посёлки на свете, рано или поздно приходила весна — май приходил. И тогда Красный Бор с ног до головы одевался в белый цвет — дружно, как сговорились, зацветали яблони и вишни, будто белые облака опускались на эту тучную, изрытую тракторными гусеницами землю и плыли по ней, роняя в грязь белые лепестки.

Самый лучший сад был у Зеленухиных — бездетной пожилой четы. Чего только не было в этом саду, каких только яблонь и вишен, старых и молодых, стройных и с переплетёнными, как корни, стволами! Во всех садах отцветали яблони, а у Зеленухиных ещё долго бушевал белый лепестковый буран.

И что там росло, какие породы яблонь, вишен или других деревьев, никто толком не знал, потому что Зеленухины были люди замкнутые, никого к себе в гости не звали и сами в гости не хаживали, и сад у них был обнесён высоким глухим забором.

А поверх забора в три слоя шла колючая проволока — руки просунуть негде, и в августе было слышно, как за зеленухинским забором, изнемогая от тяжести плодов,

потрескивают и жалуются яблоневые ветви и с пристуком падают на землю яблоки.

Говорили, что Зеленухины сбывают яблоки в столицу, но это, конечно, не было правдой, так как от посёлка Красный Бор до Москвы было около тысячи километров, а Зеленухины дальше районного базара на памяти земляков не выезжали никуда.

И ещё говорили, что в саду у Зеленухиных растёт единственная в мире черёмуха с белыми, сквозными ягодами.

Правда это или нет, никто не знал, но черёмуха с белыми ягодами не давала покоя Наде Копыловой, ученице четвёртого класса, которая была главой школьного кружка юннатов.

«Был бы у меня вертолёт,— думала Надя,— поднялась бы я над садом Зеленухиных, высмотрела бы эту черёмуху и сорвала с неё одну-единственную веточку, не дышала бы на неё, ухаживала бы за ней, и прижилась бы она у нас в юннатском саду. А потом это чудо-дерево убралось бы цветами и ягодами. И подарила бы я с него плоды всем хорошим людям. Пусть по всему нашему краю, по всей земле цветёт волшебная черёмуха с белыми ягодами».

И ещё Надя уговаривала себя:

«Наберись-ка ты храбрости, сходи к Зеленухиным и как на духу Расскажи им всё. Так, мол, и так, ничего я у вас не прошу, а прошу одну веточку этой самой черёмухи. Если жалко, не давайте. А не жалко, дайте — она не пропадёт, а пойдёт на пользу людям».

Но пойти к Зеленухиным у Нади смелости не хватило. Уж очень грозным был вблизи похожий на крепость, обнесённый колючей проволокой зеленухинский сад.

Однажды осенью Зеленухины наняли в совхозе подводу, нагрузили её мешками с яблоками и уехали торговать в город.

И тут-то, пока хозяев нет дома, Надя решилась подойти к забору, чтобы в щель одним глазком взглянуть на сад и, если удастся, высмотреть ту самую черёмуху.

Тотчас в разных местах зеленухинского подворья глухо, как в бочку, залаяли собаки, зазвенели цепи, и Надя убежала.

А к вечеру на подводе приехали Зеленухины и привезли

с собой маленькую девочку на тонких незагорелых ножках.

Девочка слезла с подводы и громко чихнула.

— Простыла, бедная, — сказала Зеленухина, взяла девочку на руки и понесла её в дом. А сам Зеленухин поехал отвозить подводу на совхозную конюшню.

И пошли по посёлку разговоры:

— У Зеленухиных детей нет, они и взяли на воспитание сиротку.

— Как звать-то?

— Дашей.

— Хорошее имя, старинное.

— Полненькая?

— Да худая. Одни глаза.

— Ничего. У них она поправится. У них Даша с голоду не помрёт.

— Удочерили её?

— А как же!

— У них бумага есть с печатью. А в бумаге написано: считать девочку Дашу родной дочерью Михаила Николаевича и Зинаиды Павловны Зеленухиных и величать её по приёмному отцу — Дарьей Михайловной.

— Навовсе удочерили, наовсем или на время?

— Да кто на время удочеряет, голова ты садовая?

— Я так только спросил.

— Удочерили наовсе, на всю жизнь.

— Теперь им легче будет жить.

— С детьми хоть и хлопотно, а всё хорошо!

И потянулись к Зеленухиным гости с подарками, с приносами. Кто мёд в бидоне, кто вяленую рыбу, кто платок, а кто конфеты. А Надя Копылова принесла в подарок книжку с разноцветными картинками и первый раз в жизни вступила под крышу зеленухинского дома.

В доме у Зеленухиных пахло мятой, яблоками, старыми вещами и всё скрипело, на что ни ступи, до чего ни дотронься — половицы, столы и стулья.

Даша, приёмная дочь хозяев, была смущена обилием гостей и подарков, пряталась за юбку Зинаиды Павловны



и выглядывала оттуда то с одной, то с другой стороны.

Надину книжку она не приняла, спряталась за маму, уткнулась в юбку и лица не кажет. А хозяева поблагодарили Надю Копылову за подарок, и Михаил Николаевич сказал:

— Даша, лицо-то открой, покажись! Эх какая стеснительная! Диконькая ещё, пугливая. Ничего-ничего. Поживёт у нас, привыкнет, будет к вам в гости ходить. А потом в школу. Там, хочешь не хочешь, с людьми... Спасибо вам всем за подарки.

И тут Надя набралась храбрости и сказала:

— Михаил Николаевич, говорят, у вас в саду растёт черёмуха с белыми плодами...

— Есть один куст,— ответил хозяин.

— Вы не обидитесь, если я попрошу у вас одну веточку. Самую маленькую!

— Какая может быть обида.

Хозяин провёл Надю в сад, густо оплетённый стволами и ветвями деревьев, и подвёл Надю к черёмуховому кусту. На черёмухе были ягоды, только не белые-белые, а буроватые, прозрачные на свет, будто речные жемчужины, что добывали в здешней речке в старину. А на вкус они были особенные — не связывали во рту, не дубили, как обычная черёмуха, а были сладкими и даже чуть приторными, слатымыми, как здесь говорили, переслащёнными.

И всё-таки это была черёмуха.

Надя радовалась ей, а сама всё оглядывалась, как бы собаки не напали, те самые, которые лаяли и гремели цепями, когда она подглядывала за садом. Но всё было спокойно, и собак нигде не было видно.

— Чего ты одну веточку возьмёшь? — сказал Михаил Николаевич. — Я тебе её с корешком вырою. Бери и сажай у себя в саду или в школе. Пусть все знают, что есть на свете черёмуха с белыми ягодами.

С этих пор люди перестали сторониться Зеленухиных. И часто приглашали их в гости. И сами Зеленухины оказались людьми хоть и малоразговорчивыми, но совсем нескучными, не такими, как про них говорили раньше. Придут

к Даше её подруги, Дашины приёмные родители накормят их, напоят и обязательно одарят гостинцами, да хорошо одарят, в одной руке не унести.

Колючая проволока на зеленухинском заборе стала ржаветь, прогибаться от ржавчины, и недавно Михаил Николаевич снял её, всю до последнего метра. Теперь в посёлке колючей проволоки нет ни на одном заборе.

Дочь Зеленухиных Даша нынче осенью пойдёт в первый класс.

А черёмуха с белыми ягодами с лёгкой руки Нади Копыловой растёт не только на пришкольном участке, но и во всех садах Красного Бора. Одни говорят, что это чрезвычайно редкое растение и нигде, кроме здешних мест, оно не встречается. Другие же утверждают, что ничего в этой самой белоягодной черёмухе особенного нет и растёт она везде, только надо очень внимательно смотреть на цветы, деревья и кустарники, что окружают тебя с самого твоего рождения.

Что касается меня лично, то я ни до, ни после описанных событий нигде этого растения не встречал и не читал про него, за исключением «тетради наблюдений на пришкольном участке», которую постоянно ведёт Надя Копылова. Наверное, оно обозначено где-нибудь ещё, просто книга с его описанием не попадалась мне на глаза.

По-прежнему в посёлок Красный Бор, как и во все посёлки на свете, приходит весна и обволакивает его белым нежнейшим туманом лепестков, и выше становится небо над домами, над садами, над яблонями. На какое-то время мир затаит дыхание, и даже малый лепесток не колыхнётся на черёмухе: нельзя, всё замерло, и ты замри. Но так продолжается недолго — не вытерпит, шевельнётся один лепесток, другой, третий, и будто ребячье дыхание коснётся твоей щеки, твоих губ. Клубятся лепестки, падают последние на тучную, изрытую тракторными гусеницами землю, смешиваются с ней, и неторопливо в тайниках ветвей и листьев рождаются, круглятся и наливаются сладостью просвечивающие на солнце плоды. Хороший плод всегда впустит в себя

солнце — обрадуется ему, и ты на глаз угадаешь внутри плода тёмную, как родинка, сердцевину — семечко или косточку.

ОЗЕРО ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА

За речкой Тоймой, что припала к старинному городку Елабуге, отражая его церкви и дома, лежали луга с озёрами. Я знал по имени каждое озеро и озерко и каждую ямку с водой и мог по памяти вычертить подробную карту елабужских лугов. На длинных заседаниях я так и делал — на листке бумаги рисовал эту луговую карту.

Все я знал озёра, да не все...

На рыбалку следует ходить засветло, а мы с Димой, надеясь на моё знание местности, пошли затемно и едва миновали озеро Салмач, как угодили в полосу плотного тумана.

Диме было лет десять, он держался за мою руку и шёпотом спрашивал:

— Кто это?

— Где?

— Вон возы с сеном.

— Это не возы, а туман клубами.

— А это что за деревня?

— Это кусты.

— Почему они как избы?

— Так кажется.

— А почему кажется?

— Туман.

— Ну и что?

— В тумане всё по-другому.

Мы и от дома далеко отойти не успели, а потеряли дорогу. Где-то слышались голоса, расплывались огни, как красные караси в воде, под ногами хлюпало болото.

Мы нескоро выбрались на твёрдую землю и наткнулись на стог. Был он влажен, крут, сложен из осоки, и пахло

от него болотной сыростью. Дима дрожал от холода, и я пообещал:

— Костёр разведу — согреемся.

Обещание своё я не выполнил. Костёр разводить было негде и не из чего. Куда бы я ни пошёл, всюду была вода.

— Полезли на стог, Дима, — сказал я. — Там посуше. Переждём туман, а утром разберёмся...

— Холодно-оо-ооо...

По ветренице, не с первой попытки, мы поднялись на стог, подвернули пласт, который посуше, залезли под него и, дрожа и согреваясь, не заметили, как заснули.

Проснулись мы от холода.

Туман валом валил через луга, и в студёном млечном его потоке просматривалось солнце. Оно то разгоралось, то пригасало, и нам, еле живым от холода, думалось, что и солнцу тоже не тепло и оно изо всех сил старается не остыть до срока, чтобы не оставить людей в темноте и холоде.

— Озеро! — крикнул Дима.

Я обернулся и ничего не увидел, кроме тумана.

— Не здесь. Под нами!

Я подался вперёд, лицом почувствовав близкую воду, и увидел под стогом слабое солнечное отражение. Туман опадал, открывал озеро, круглую глубокую чашу в редких кустах, камышах и кувшинках.

Мне не надо вспоминать здешние озёра — я могу любое, как знакомого человека, окликнуть по имени, но эту чашу с чистой водой я видел впервые.

Как же так?

— Что это за озеро? — спросил Дима.

— Вспоминаю...

Мы спустились к воде, забросили удочки. От нашей одежды шёл пар, солнце набирало силу, грело, как печка, а клёва не было.

Я заскучал, оглянулся и обнаружил, что городок мой совсем рядом. Вон его церкви, алые от солнца, его дома, каменные и деревянные, блестят окошками.

Под городом озеро, а я его не знаю!



Ближний ко мне поплавок закачался. Качался он долго, и я устал на него смотреть. Потом он обмяк и лёг на воду. Подсекать или не надо? Про этот случай в книгах написано по-разному. Одни советуют подсекать не задумываясь, другие велят ждать, пока поплавок не воспрянет и не поведёт в сторону, в глубину. Ждать у меня терпения не хватило, и я подсек — на крючке заходила тяжёлая и ленивая рыба. Через кувшинки и осоку я выволок её на берег. Это был линь, отлитый из тёмного золота. Я посадил его в садок, а садок по крышку опустил в воду. Линь не всплеснулся ни разу. Видимо, перемены судьбы он принял как должное: быть ему пойманному и посаженному в плетёную темницу.

В то утро я поймал пять линей, и рыбацкая радость обняла меня.

— Дима,— крикнул я,— поймал чего-нибудь?

Из-за осоки отозвалось:

— Нету.

— Пошли домой!

У рыболовов и охотников есть правило: взял зорю — спешу домой, добычу свежей принесёшь, и все будут знать, что ты — человек удачливый. Люди проснуться не успели, а ты с полем.

Подошёл Дима и повiniлся:

— Ни одной рыбки не поймал...

Я поднял садок, с него схлынула вода, и о прутья заколотились лини. Дима заглянул в садок и промолчал.

— Бери любого,— сказал я.

Он замотал головой.

— Что так?

— Так,— тихо ответил мальчуган.

На прощание я оглядел счастливое это озеро. Всё-таки как оно называется? Почему я, что с малых лет обошёл каждую ложбинку в лугах, не встречал его ни разу? Радостно мне было, и я признался:

— Дима, я не знаю, как зовут это озеро. Я его и не видел никогда.— И прибавил: — Давай назовём его сами?

— Линёвое,— сразу предложил мальчуган.

— Годится!

Вдоль камышовой протоки, что бралась от озера, мы пошли домой. Протока раздалась, впала в длинный озёрный плёс, и я узнал знаменитое озеро Окунёвое. Стало быть, круглая чаша, где я поймал пять линей, — никакое не озеро, а всего лишь дальняя головка Окунёвого. За камышами затаилась она в низинке, запала, как утка на гнезде, и пусть я многое множество раз рыбачил на Окунёвом, о низине этой я не слышал, не подозревал, не доходил до неё. Вон оно что!

Мы шли по сухой гриве по колено в травах, в кровохлёбках и колокольчиках, и я думал о том, что двести лет назад на этом самом месте, на берегу озера Окунёвого, останавливался станом предводитель крестьянского восстания Емельян Пугачёв вместе с тысячами мятежников. Он ночевал здесь, жёг костёр из тальника, пил воду из озера. А утром навстречу Пугачёву из села Трёхсвятского — так тогда называлась Елабуга — вышли люди с хлебом-солью, вынесли ему в знак смирения икону Трёх Святителей, дар царя Ивана Грозного. Обо всём этом я рассказал Диме.

— Это здесь было? — не поверил мальчуган.

— Здесь, где мы стоим.

— Откуда ты знаешь?

— В старинных книгах написано. Да и старики рассказывали.

— Откуда они знают? Они же не жили при Пугачёве.

— Ну и что? Те, которые встречали Пугачёва, рассказывали своим детям. А дети пугачёвцев своим детям. Так по цепочке и дошло до нас.

— А икона та где? Дар царя Ивана Грозного?

— Разыскивал я её... До революции была она в Покровской церкви. Вон белеется, ближняя к нам. А потом следы её затерялись. Может быть, ещё найдётся.

Дима стал отставать от меня и поглядывать себе под ноги. Поглядывай, Дмитрий Сергеевич, поглядывай, ничего ты не выглядишь.

Ни ружья не найдёшь, ни сабли. Битвы тут никакой не было. Ночевали люди у костров, утром встали и пошли

дальше. Оружие не забыли — нельзя, не положено. Что осталось? Остались кострища да колышки от шатра. Прошло двести лет, двести половодий заливало наши луга, кострища затаило травой, колышки истлели.

Перед тем как проводить нас, озеро распахнулось широким чистоплеском, вода в нём загустела и ненадолго задувалась. Пробуждались кувшинки, открывали жёлтые цветы свои — цветы или лежали на воде, или вытягивали из неё стебли и смотрели на меня с Димой. Переговаривались камыши, негромко плескались волны, качали листья и цветы кувшинок с золотыми кувшинчиками посередке, изредка всплёскивала рыба, и жгучим огнём горела рябь на озере — всё не хотела отпускать нас. Смотреть на неё, как ночью в костёр, и не насмотреться...

— Назвать бы это озеро озером Емельяна Пугачёва, — сказал Дима. — А то что это — Окунёвое? Окуней много, а Пугачёв один.

Я согласился:

— Назвать-то можно. Только люди всё равно будут звать Окунёвым. Оно так в книгах и на картах значится.

Мы шли по лугам, травы дымились и распрямлялись нам навстречу, ногам было легко, и куда подевались вчерашняя сырость и вязкость? Городок белел в голубом дыму и, не мешая утру, поднимался из луговых цветов и трав.

Он ещё не проснулся толком, встретил нас утренней тишиной, и по окраинным, по затравевшим его улицам идти было вольготно, как по лугам.

— Дима, — сказал я у его дома, — возьми линия. Почему ты отказываешься? Если хочешь на честность, скажешь, что я поймал, что это твоим мой подарок.

У него слёзы выступили на глазах.

— Не возьму... — ответил он. — Ни за что не возьму!

Мы простились.

Лини в садке лениво били хвостами, садок поскрипывал, и мне очень хотелось, чтобы навстречу попался кто-нибудь, знакомый или незнакомый любопытный человек.

КОРМИЛЬЦЫ-ПОИЛЬЦЫ

Саша учился в четвёртом классе, а сейчас в сенокос помогал косарям — отвечал за чай, за огромный чугунный котёл, чёрный от копоти.

Был на луговом стане ещё один котёл, такой же большой и чёрный, но за него отвечала повариха Ольга Ивановна, в отличие от многих поварих совсем не толстая, а сухонькая и проворная. В своём котле она варила кашу и это ответственное дело не доверяла никому.

Косари приходили с косьбы еле живые от жары и набрасывались на чай.

— Чаю, да покрепче! — просили они.

— Чай не пить, откуда сила будет?

— Утром чай, в обед чаёк, вечером чаище!

— А у меня чай с комарами — эх и вкусный!

— Комары кислят...

— Не комары кислят, а дикая смородина.

— И комар тоже свой вкус даёт.

Котёл выпивался до донышка, до поскрёбышка, и косари хвалили чаевара:

— Ай да Саша, ай да молодец!

— Чего ты в него кладёшь, Александр Петрович?

Саша краснел от таких похвал, и за него отвечала повариха:

— Который раз зверобой, а который — мяту или листья смородины. А то и корешок шиповника положит.

Повариха говорила это сердитым голосом, потому что после чая косари ели кашу её приготовления и, разомлев от еды и питья, как-то забывали похвалить её.

— Не понравилось, что ли? — спрашивала она. — Горяча или холодна?

— Понравилось, — отзывались косари. — За вкус не селюсь, но горячо сварено.

— Каждый день каша да каша!

— Глаза бы на неё не глядели...

— Чай никогда не надоест, а от каши изжога.

Саша не один раз видел, как Ольга Ивановна тайком

плакала от таких «похвал». Что она могла поделать, если, кроме пшена и хлеба, других продуктов на стан не завезли?

Саша и Ольга Ивановна собирали миски и ложки, чисто-начисто споласкивали их с лодки в озере, и вода закипала от всплесков — это рыбы подходили покормиться остатками пищи.

«Порыбачить бы,— думал мальчуган,— косарей рыбой угостить, они бы сразу Ольгу Ивановну ругать перестали».

Но ни крючка, ни лески, ни удочки у Саши не было, а была у него «дорожка» — деревянная дощечка, на которую намотан длинный шнур с медной блесной. Рыбачат на «дорожку» с лодки, да у Саши не было времени на рыбалку — там тальнику нарубить для костра, там зверобоя нарвать или мяты, там ещё что-нибудь сделать. Повару да костровому дело на стане всегда найдётся. Это только со стороны кажется, что там мало работы.

Сегодня Саша проснулся раньше раннего, выбрался из шалаша, и его с ног до головы объял росяной холод — от росы всё промокло, и даже на котлах, на тяжёлых чугунных крышках роса скаталась в крупные ртутные шарики.

В волглой стенке шалаша Саша нащупал «дорожку» с блесной и, дрожа от холода, спустился к озеру, к лодке.

Лодка была ветхая, наполовину полна воды. Саша миской вычерпал воду, оттолкнулся вёслами и поплыл.

В лицо и грудь сразу ударил плотный озёрный туман, и дышать от него стало тяжело.

Саша сильнее налегал на вёсла, и мало-помалу тепло, как радость, обняло его. Он достал «дорожку» и принялся разматывать шнур с блесной — отпускать её подальше от лодки.

Грёб он неслышно и, когда шнур с блесной разматало метров на двадцать — на двадцать пять, взял его в губы, как когда-то учил отец, чтобы не прозевать и слабую поклёвку, и погрёб вдоль берега, слыша, как в голубых круглящихся кустах просыпаются птицы и пробуют голоса.

Тихо и радостно было на душе у мальчугана.

Времени до рассвета ещё много, котёл с чаем подогреть он успеет, вот только поедит немного, погрееется.

Легонько-легонько, будто мама во сне, шнур потянуло из губ мальчугана.

Саша повлѣк шнур на себя — его выдернуло из рук, обожгло пальцы, дощечку выбросило в озеро, и она, как деревянный кораблик, быстро-быстро побежала по воде.

— Куда ты? Куда? — отчаянно закричал Саша, что было сил погрѣб за дощечкой, которая то ныряла, то всплывала, увлекаемая неведомым существом.

Мальчуган настиг её, для верности обмотал шнур вокруг скамейки, налѣг на вѣсла — из воды на том конце шнура выметнулось нечто огромное, больше человека, зелёное и... с грохотом обрушилось в воду.

И лодку повлекло по озеру.

Вот шнур как будто начал ослабевать — сантиметр по сантиметру Саша подтягивал его к себе, пока не увидел у борта лодки зелёное пятнистое чудовище с выпученными глазами. Оно стояло у самой поверхности воды и задумчиво шевелило прозрачными плавниками, будто думу какую думало, а сбоку изо рта его торчала медная Сашина блесна.

«Страшная-то какая», — подумал мальчуган и, зажмурившись, рванул шнур к себе. Вода вокруг лодки забурлила, как в котле, лодка накренилась, черпнула бортом, перевернулась, шнур лопнул, и Саша полетел в воду.

Он ухватился за борт лодки, подгребая свободной рукой, подогнал её к камышам, вылез на берег и безутешно заплакал.

Он плакал и тогда, когда выжимал одежду, и тогда, когда пригнал лодку к стану. Там было тихо, косари ещё спали, и только Ольга Ивановна, стоя на коленях, раздувала пламя под Сашиным котлом: проснутся косари и сразу же попросят горячего чаю.

Про своё приключение со щукой Саша никому не сказал ни слова — хвалиться особенно нечем, да и не поверит никто.

К обеду Саша пошёл нарвать мяты для чая и у самых камышей увидел на воде что-то большое и белое, как брёвнышко, чисто-начисто вымытое и оглаженное водой.

Это была щука, его щука — изо рта её торчала медная Сашина блесна с обрывком шнура. Только щука эта была

мёртвая и плавала кверху брюхом. Почему так получилось, Саша не знал. То ли сердце у неё не выдержало схватки с рыбаком и лопнуло, то ли ещё что, только качалась она сейчас на волнах и плавниками не шевелила.

За обрывок шнура Саша выволок её на сушу и подивился, до чего же рыба тяжела и объёмиста. Не рыба, а целый поросёнок. Была она вся в тёмно-зелёных пятнах, кроме изголуба-белого брюха, а тёмные навывкате глаза её не мигая смотрели на белый свет.

«Чего же с ней случилось? — размышлял мальчуган. — Старая она, вот сердце и не выдержало. Как же я её на станто донесу? В ней, наверное, пуд будет, не меньше».

За тот же обрывок шнура мальчуган взвалил её на спину и, покачиваясь от тяжести, приволок на луговой стан.

Ольга Ивановна только руками всплеснула:

— Вот так Акула-Каракула! — И спохватилась: — А она не протухшая?

— Когда же она протухла? — ответил мальчуган. — Я её нынче утром на блесне уморил.

— Ты?!

— А кто же ещё... Моя блесна у неё во рту!

Повариха всё нюхала щуку в разных местах и недоверчиво говорила:

— Свежей рыбой пахнет.

— А чем же ещё?

Повариха нюхала и качала головой.

— Ладно, — наконец сказала она. — Разводи, Саша, жарче костёр — уху варить будем!

После косьбы нагрянули косари, напились чаю, нахвалили его разными приятными словами.

А потом им подали уху, и Ольга Ивановна самолично половником положила каждому в миску по большому разваренному куску щуки.

— Ольга Ивановна, — говорили косари, — вот спасибо тебе, вот спасибо!

— Кормилица ты наша и поилица!

— Вот это уха!



— Самая лучшая уха из петуха.
— Эта тоже ничего...
— Какой ничего: ум отъешь!
— Жестковата.
— Ох ты и привередник!
— Чай никогда не надоест и ушица.
— Где же ты рыбку-то достала, свет ты наш Ольга Ивановна?

— Саша изловил,— отвечала Ольга Ивановна.— Изловил на дорожку, а как — не рассказывает. Принёс щуку больше себя и говорит: «Сварим уху, Ольга Ивановна?» Я говорю: «Сварим, конечно, сварим». А как поймал — не рассказывает.

А Саша стоял в стороне, слушал разговоры взрослых, краснел до ушей, улыбался и думал, как изловить другую рыбу, чтобы на стане всегда были мир и согласие.

ХИТРОСТЬ СТАРОГО БОБРА

(Рассказ егеря)

К нам на Вятку из Воронежского заповедника привезли шесть бобров. Места у нас лесные, речные, озёрные — самые бобриные места. Жить им у нас и не переводиться.

Бобров мы везли вдвоём с товарищем на моторной лодке.

Сидели они в деревянных ящиках, обитых оцинкованным железом, чтобы ни один пленник не прогрыз их и до срока не убежал на волю.

В дороге мой товарищ нечаянно задел багром за задвижку — ящик открылся, и бобр вылез наружу.

А мы до этого случая бобров в глаза не видели и не знали, как с ними обращаться. А бобр большой, тёмный, глазки как пыльная смородина и шипит — резцы показывает. Белые, страшные.

Я кричу на него:

— Кыш на место! Кыш!

А он в ответ:

«Шишш... Шишш».

Получается, что ругается бобр, передразнивает меня: я ему «кыш», а он мне «шиш».

— Эх ты, грубиян!

Мой приятель хотел багром его постращать и в ящик загнать, а бобр нырнул в реку — и поминай как звали. Мы мотор заглушили и ждём, когда беглец покажется.

Товарищ багром в Вятке шарит: но, конечно, без толку. Это потом мы узнали: багром бобра ловить — всё равно что пытаться рукой рыбу в реке поймать за хвост.

До вечера мы прождали — так и не увидели, где он вынырнул.

Место это мы запомнили — лесные уголья бригады Тутышкина — и поехали домой.

Приехали мы в заказник и без приключений выпустили бобров на лесное озеро.

Живём, охраняем заказник, а про бобров ни слуху ни духу. Как их и не было.

В чём дело? Не померли же они все?

Погода стоит хорошая, корма для бобров достаточно — осина, ива, кувшинки жёлтые и белые. Как говорится, стол накрыт, а званных гостей нету.

Зиму мы перезимовали, про бобров не слыхали. А на другой год прошёл слух, что в угольях бригады Тутышкина объявились бобры и речку Прость всю испортили — всю деревьями завалили.

Моя обязанность — этот слух проверить.

Прибыл я на место.

Всё правильно — бобры есть. Их самих днём не видно, они звери ночные, скрытные, но то, что они здесь, понятно.

Речка Прость перегорожена плотиной из веток и земли, да такой прочной, не только человека — лося плотина выдержит и не шелохнётся. Перед плотиной речка разлилась, а мальчишки удят рыбу.

Я спрашиваю:

— Клюёт?

— Хорошо, — говорят, — клюёт. Караси да окуни.

— Крупные?

— Средние.

— А раньше клевали?

— Раньше не клевали. Раньше река вся высыхала, и даже пескари в ней не всякий год водились.

Стемнело, ребяташки рыбу на куканах домой понесли, а я сижу бобров высматриваю. Прилетели дикие утки, плещутся, меня не замечают, до того тихо я сижу. А ближе к полуночи и бобры появились. Темно, их самих не видно, только плеск стоит, будто пудовые сомы в воде ворочаются.

Порадовал меня этот плеск — значит, бобры прижились, пусть не у нас в заказнике, но всё равно в нашей стороне, и доброе дело сделано.

Я ещё тогда подумал:

«Это их, наверное, бобр-беглец сюда привлёк. Или они сами его нашли: он в этих местах у нас с лодки убежал».

Пришёл я домой и обрадовал своего товарища известием о бобрах.

— Нет худа без добра, — говорит он мне, — не зря убежал бобр, который тебя передразнивал.

— Это ещё как сказать!

Осенью мы с товарищем пошли бобров навестить. Приходим, и не узнаю я местность: плотина сломана, озера нет. Да и речки нет — одна жидкая грязь.

Вот так штука!

Ребятишек встретил, тех, что когда-то окуней да карасей ловили. Спрашиваю.

— Клёёт ли рыба в Прости?

— Нет, — говорят, — не клёёт. Плотину Тутышкин сломал.

— Почему?

— Не знаем.

Пошли мы к Тутышкину. Он чай пьёт.

— Извините, — говорит, — я после бани. С полка слез, окатился прохладной водой — и чай пить.

— Ничего, — говорим, — чай пить полезно. Только почему вы бобровую плотину сломали? По какому такому случаю?



— Это,— говорит,— я справедливо сделал. От бобров деревья гибнут, комары разводятся, луга заболачиваются, малярия...

— Кто-нибудь заболел малярией? — спрашиваем.

— Нет, пока бог миловал. Но всё равно — от бобров вред.

— А рыба, а утки, а сам бобровый мех — великая ценность?

— Ничего не знаю,— говорит Тutyшкин.— Ничего не знаю и знать не хочу. Земля моей бригады, а если они вам нравятся, забирайте их и разводите у себя в заказнике. Я не возражаю.

Так и ушли мы от Тutyшкина несолоно хлебавши.

Бобры-то нам нравятся, да не хотят они жить у нас на лесных озёрах.

А на другой год бобры опять построили плотину на речке Прость, и опять появилась рыба и утки, и малярии никакой не было.

И опять Тutyшкин плотину сломал, и всё на речке замерло.

Где бобрам с Тutyшкиным бороться? Он и технику может пригнать, скажем экскаватор, и за полчаса плотину разрушить, и ружьём бобров пострелять, так что ни один охотничий инспектор не услышит. А что бобры? Бобры не тигры. Они безответные.

Не слышно стало бобров, как в воду канули. Или в другое место ушли или погибли? Да, печальная история.

Только прошло года два, идём мы с товарищем мимо речки Прость. Что такое? Стоит плотина, вся иван-чаем обросла, перед ней воды целое озеро, в воде рыба плещется, ребяташки с удочками стоят — те самые, подросли заметно, вытянулись.

— Ключёт? — спрашиваю.— Караси и окуни?

— Караси и окуни.

— А дикие утки прилетают?

— Они на зорях прилетают.

— А Тutyшкин как же? — спрашиваем.

— Что Тutyшкин?

— Как он на всю эту красоту смотрит, почему плотину не ломает?

— Нет Тутышкина,— говорят ребята.— С работы его сняли за нерадивое отношение к своим обязанностям.

— И бобров ему вспомнили?

— И бобров вспомнили. Вместо того чтобы дело делать, он природу разоряет.

Вот так бобры! Победили они Тутышкина. Измором взяли.

Остались мы с товарищем на ночь на плотине. Дождались, когда бобры на работу выйдут. На наше счастье, ночь была ясная, с месяцем, и мы видели, как они купаются, как плотину чинят: в передних лапах, как в руках, носят ветки и палки, укладывают где в ряд, а где наискось и мокрой землёй замазывают. Споро работают, дружно, как люди. Один большой бобр совсем близко от нас трудится. Пыхтит и не замечает людей.

Ночь-то свежая была, мой товарищ и чихнул. А бобр как зашипит:

«Шишш!»

И бултых в воду, а за ним и остальные. Закипела вода в озерке, и всё стихло. Мой товарищ и говорит:

— Это тот самый бобр был. Беглец!

— Почему ты так думаешь?

— А тут и думать нечего. Я чихнул, а он мне вместо доброго здоровья по старой памяти говорит «шиш». Помнишь, как он тебя передразнивал?

— Помню, как не помнить.

Посмеялись мы и, чтобы не мешать строителям, пошли домой.

Так и живут бобры на речке Прость по сей день. Живут и никому не мешают.

Много их стало, и четыре семьи переселились к нам в заказник, на лесные озёра. У нас в заказнике им хорошо, пищи вдоволь, Тутышкина и в помине нет. Я так и не пойму, почему им в первый раз у нас не понравилось. Быть может, бобрам хоть малое подавай, да течение? А может, их старый бобр переманил. Тот самый. Передразниватель. Кто знает?

БОЧАЖОК

(Рассказ изыскателя)

Вы спрашиваете, много ли золота в Сибири?

Про всю Сибирь не скажу, она большая, а в Восточной Сибири его много.

Добывается оно машинами, и вы это не хуже меня знаете. Машины перемывают многие тонны песка или другого грунта, и крупинка по крупинке оседает на дно тяжёлое золото.

Человеку без машины такое не под силу — надо вон сколько земли переверотить, чтобы добыть одну золотинку. Отступится он с голыми руками.

Мне старый дедушка показал в банке из-под вазелина щепоточку золотого песка.

— Это,— говорит,— я свою завалинку просеял, и вот, пожалуйста, золото.

А я спрашиваю.

— Дедушка, а долго ты просеивал завалинку?

— Долго. Весну. До лета проколупался.

— Стало быть, не выгодное это дело?

— Стало быть, так. Сколько тут его у меня? Рублей на тридцать. Я бы за это время в колхозе заработал самое малое рублей сто пятьдесят. Да ещё бы и натурой получил, продуктами.

Вот так.

Природа зря баловать человека не будет.

Раньше лихой золотоискатель шёл грабить землю, ради золота ни людей, ни природу не щадил, и она быстро его разгадала.

Взяла да и спрятала под землю все свои самородки, россыпи, золотые жилы. Она как бы сказала людям:

«Вы ко мне по-плохому, и я к вам по-плохому. Не откроюсь я, и не добьётесь вы от меня ничего. А если бы вы по-хорошему, то бы и я по-хорошему».

Да это не только природа.

У меня есть знакомый инженер — начальник вычисли-

тельного центра. Под его началом сложные электронно-вычислительные машины. Он говорит, что они не будут работать, если к ним подходить без ласки. И жалуется на своего заместителя. «Уеду,— говорит,— я в командировку, вернусь, машины стоят, а заместитель их ругает: «Такие, сякие, капризные!» Я говорю: «Не они капризные, а вы грубый. Вы ещё руку к пульту не успели протянуть, а я уже по вашему движению знаю: машина у вас работать не будет. Вы к ней без доброты и вежливости». Покажу ему, как надо обращаться с техникой, а он со мной спорит: «Выдумываете вы всё. Механизмы работают не от человеческого тепла, а от опыта». Я, конечно, спуска не даю, доказываю ему своё: «Что такое опыт? Одни знания? Опыт и есть доброта. Вот я, например, не могу видеть, как кассир в магазине кулаком стучит по кассе. Касса ведь тоже вычислительная машина! Мне кажется, что кассе больно».

Вот так.

Такой у меня друг — начальник вычислительного центра.

Был бы он изыскателем, земля бы от него свои сокровища не прятала. Она бы сразу поняла, с кем имеет дело.

Работает у нас один изыскатель — назову его Николаем Николаевичем. Лет ему много, за пятьдесят, природу он понимает и зря не обидит. И она к нему добрая.

Как-то изыскатели обосновались в глухой тайге, вертолёт их привёз. А Николай Николаевич, заядлый рыболов, пошёл в тайгу на ручей — хариусов половить.

А ручей этот — одно название. Завалило его деревьями, не подступиться. Только на слух понятно, что это ручей.

Тут ещё комары одолели. Накомарник старенький. Комары жалят сквозь него, как осы, и ничего с ними поделать нельзя.

Николай Николаевич хотел на базу повернуть, да услышал, как вода зашумела громче. Водопад. А где водопад, там и омуток — бочажок, как его здесь зовут.

А где бочажок, там и рыба!

Перелез Николай Николаевич через завал, оцарапался, весь в паутине, и видит: водопад с полуметровой высоты

падает в круглый, метра два в диаметре, бочажок. Пузыри идут по воде от водопада.

«Хорошее место для рыболова», — думает Николай Николаевич и из-за деревьев тихонько посылает в омуток искусственную мушку на крючке, на тонкой леске. Мушку крутит, пузыри кругом плавают, а поклёвки нет. А комары жалят, хоть караул кричи.

Может, и рыбы в бочажке нет? Тогда какой смысл здесь стоять?

Николай Николаевич выглянул из-за деревьев.

Бочажок как бочажок. Глубина — сантиметров семьдесят. На дне камни, песок, и ни одной рыбы.

Стоп! Что это! Посреди омутка — жёлтый насыпной бугорок. Да не просто жёлтый, а с искорками. Старого изыскателя в пот бросило. Кто-кто, а он эти искорки с другими не спутает. Чистое золото! Только не человек его намыл, а ручей. У ручья времени много — сотни лет впереди и позади. За это время он не одну тысячу тонн песка и камней перемыл, в мелкую муку смолот. Песчаную пыль унесло, а золотая осталась. Золото тяжелей не только камней и песка, но и железа и свинца тяжелее. Так и намыл ручей за свою долгую жизнь золотого песка круглую пирамидку.

Вода в бочажке чистая, чище воздуха, и всё золото на виду.

Долго не решался взять его Николай Николаевич. Красоту боялся разрушить. Накомарник снял и не слышал, как комары кусаются.

Но делать нечего, на то он и изыскатель — ищет сокровища в тайге. Забрёл он в ледяную воду, забрал всё золото до крупинки, пока забирал — ноги судорогой свело. Принёс золото на базу, весь в крови — комары лицо нажгли, а накомарник Николай Николаевич потерял в тайге. Так-то он ничего не терял, а на этот раз потерял — переволновался!..

Взвесили золото — килограмм девятьсот тридцать граммов.

Что делать? Открывать здесь золотые прииски? Как советуют изыскатели, так и будет.

Изучили мы эту местность и прииски открывать не советовали. Редко лежит здесь золото, невыгодно его разра-

батывать. Чтобы добыть малую толику, надо много земли перевернуть — с целый дом этажей в девять с четырьмя подъездами. Такой дом, в котором я живу.

Ручью хорошо, с него спрос не велик, он не торопится, моет себе по крупинке в год, а мы так не можем — мы люди, с нас и спрос больше.

Золото для промышленной добычи мы нашли в другом месте. Где и как — рассказывать долго. Только скажу, что там оно лежит гуще, на виду не красуется, и машины его моют и по сей день.

Вот вы и спрашиваете, много ли в Сибири золота? Для кого много, а для кого и нет. Поезжайте сами в Сибирь, люди там всегда требуются, поработайте, оглядитесь. Только поезжайте не на месяц и не на год, а надолго. И тогда вы всё узнаете сами.

Да, вы ещё спрашиваете, куда дел золото Николай Николаевич, как он им распорядился? Сдал государству. Всё, до последней крупинки. И всё до последней крупинки идёт на пользу народа.

А как же иначе? Ведь власть у нас — советская, народная, капиталистов и помещиков нет, и забота о народе — главный закон нашей жизни.

ПОБЕГ

(Рассказ лесника)

Нужна охота или нет? Не о прошлых временах речь — тогда целые народы охотой жили. А сейчас, когда человек сам выращивает и мясо и хлеб и охотников в иных местах больше, чем дичи, нужна охота или нет? В трёх словах тут не ответить, и я расскажу историю, которая ко мне имеет прямое отношение.

Наш остров лежит в море. Сложен он из камня, из гранита. А на камне тоненькая земляная подстилка, сантиметров сорок, не толще. Сотни лет собиралась эта подстилка — из мхов, из травки, из палых листьев.

И вот теперь на этой подстилке растёт хороший лес — сосны, ели, лиственницы и берёзы. Потянет ветер, расшумятся они, разговоятся. И лес шумит, и море.

Кто громче, кто кого перешумит?

У нас на острове есть всякие звери и птицы.

Жена выйдет на крыльцо кормить кур. А на перилах уже белка караулит — с чёрной спинкой, с большими кисточками на ушах: угости, мол, и меня. А чем её угощать? Орехами.

Мы орехи с материка привозим — грецкие и наши, лесные. И для себя возим и для гостей, вечерами душу потешить. На острове мы не одни живём, у нас там целый посёлок.

Охота на острове запрещена. Когда-то здесь охотились вовсю, выбили чуть ли не всё живое, и вот теперь охоту запретили на веки вечные.

Хорошо это или плохо?

Хорошо-то вроде бы хорошо, только развелось на острове белок видимо-невидимо, поели они всё, что можно было поест, и стали мне попадаться в лесу мёртвые зверьки — мех реденький, усохшие, как веточки.

Я приехал на материк и пошёл к моему охотничьему начальству.

— Разрешите, — говорю, — временно охоту на белок. Развелось их на острове видимо-невидимо, поели они всё, что можно поест, и теперь умирают от голода.

— А подкормить их нельзя? — спрашивает начальство.

— Подкармливаю, — говорю, — с материка орехи вожу — грецкие и наши, лесные. Разве всех белок подкормишь? Моей зарплаты не хватит.

— Ладно, — говорит начальство, — чего-нибудь придумаем.

— Охоту, — говорю, — надо бы на время разрешить. Белок стало бы поменьше, и кормиться им полегче...

— погоди, — говорит начальство, — не торопись. Поживём — увидим.

Приехал я к себе на остров — на море буря поднялась. Волны все с белыми гребнями, режут, разбиваются о берег,

и куда бы ты ни пошёл, везде на лицо твоё, как дождик, сыплется водяная пыль.

Расшумелось море, и людям тихими голосами не даёт разговаривать — не слышно друг друга.

Я кричу жене:

— Жена, ты нынче куриц кормила?

— Кормила!

— Белка с чёрной спинкой прибежала?

— Е-ее-ее...

— Прибегала или нет?

— Не-еет!

Покричали мы друг на друга, как глухие, а море шумит и шумит. Три дня и три ночи шумело оно и стихло. И такая тишина — в пору шёпотом переговариваться. Жена мне и шепчет:

— Куриц нынче кормила, а белки не было.

— Не было?

— Не было.

Пошёл я в лес, а там тишина великая и деревья поваленные встречаются. Листок упадёт — далеко слышно. Ходил я, ходил по лесу и ни одной белки не встретил. Раньше, бывало, идёшь, то тут, то там белки мелькают, любопытствуют, что ли, кто ты такой и куда путь держишь.

Куда белки-то подевались?

Прошёл я лес насквозь и вышел к самому морю. Лежит оно у моих ног, тихое, белое, как молоко в блюде, и не верится, что оно, это самое море, бушевало три дня и три ночи.

Домой надо идти.

Умылся я в море для бодрости, хотел домой повернуть и остановился. Море-то бело, а посредине его рыжий островок. Что это такое? Водоросли или ещё что?

Иду обратно, а рыжий остров из головы не выходит. Давно я здесь живу, а такого ещё не видывал.

Прибежал домой, кричу:

— Жена, запрягай моторную лодку, в море поедem, там какой-то рыжий остров объявился!

А жена удивляется:

— Какой ещё рыжий остров?

Я говорю:

— Запрягай, запрягай.

— Это же лодка, а не лошадь, — опять удивляется жена.

— Прости ты меня, пожалуйста. Оговорился я.

Почему я жену просил лодку завести? Что я, лодкой управлять сам не умею, что ли? Нет, сам я умею, но мотор у лодки больно капризный, любит нежное обращение и, честное слово, жену слушает лучше, чем меня. Сели мы в лодку, жена с пол-оборота завела мотор, и поехали мы по морю искать рыжий остров.

Море тихое, всё насквозь просматривается, и каждый камушек, каждая водоросль на дне видны. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь такое море?

Едем мы, едем, прохладно стало, и хотели уже обратно повернуть, как вдруг жена говорит:

— Что это там такое — то ли тёмное, то ли рыжее?



Развернули мы лодку, подъехали, и жалость нас взяла невозможная. По морю плывут белки, да грудно плывут, голова к голове, из воды высовываются. Хвосты у них намокли, отяжелели, белки на себя не похожи — одни глаза да уши, лапками в воде перебирают, одна к одной тянутся — и все плывут в открытое море, прочь от нашего острова.

От нашей лодки волны поднялись — белки закачались на волнах.

Я им кормовое весло протянул — давайте, мол, к нам в лодку, а они пугаются, и ни одна на весло не пошла.

Как быть-то?

Им, беднягам, до материка, куда они плывут за кормом, за орехами, за шишками, ещё километров полсотни плыть, а для плавания они не приспособлены, сейчас чуть на воде держатся.

Доплывут ли? Перетонут все.

— Жена, — говорю, — плохи беличьи дела. Чего делать-то будем?

А жена и говорит:

— Давай их в лодку сажать.

— А они не идут.

— Не идут — силой посадим.

И стали мы белок собирать в лодку. Они так ослабли, что кусаться сил у них нет, только зябнут да дрожат. Лодка у нас просторная, прогонистая, места в ней много. Набрали мы белок полную лодку и повезли их на материк.

Долго мы ехали — бак и канистру бензина сожгли за всю дорогу на материк и обратно. Белок мы высадили в прибрежном лесу, где и орехи и шишки и грибы, и пожелали им ни пуха ни пера.

Обратную дорогу при луне ехали. Луна выкатилась на небо, и чего на море началось! Загорелось оно в разных местах, и плывём мы по морю, будто по небу, среди серебряных, голубых и зелёных облаков. Это я говорю потому, что один раз в лунную ночь летел на пассажирском самолёте — похоже, как по морю на лодке.

Вот, пожалуй, и всё. Конечно, мы тогда с женой не всех

белок спасли — все нам не дались, да и лодка не поместила бы всех. После море нет-нет да и выплёскивало на берег мёртвых белочек, белыми брюшками кверху.

Вы спросите: кормит ли жена моя куриц и приходит ли к ней за угощением белка с чёрной спинкой? Куриц она кормит, а белка на кормёжку не приходит — никакая, ни с чёрной, ни с рыжей спинкой. После этого беличьего побега белок у нас на острове почти не осталось, и нужно время, чтобы их опять стало много.

Вот вам и ответ на вопрос: нужна нынче охота или нет? Надо её запрещать вовсе или не надо? Выходит, где надо, а где и не надо. Разрешили бы нам временно охоту на острове, белок бы не развелось так много, не поплыли бы они на материк, не погибли бы.

И белочка с чёрной спинкой прибежала бы к нашему дому...

РУЖЬЕ

Стая диких уток кормилась в заливе озера Садового метрах в двухстах от меня.

Уток было много, и оттого, что ветер дул в мою сторону и ставил на ребро листья кувшинок, уток казалось неисчислимое количество: лист кувшинки на ребре — вылитая дикая утка, зелёная, подбористая, скрытная.

Подобраться к ним на хороший выстрел — метров на тридцать пять — было нелегко. Местность открытая, ни куста, ни дерева, одна невысокая осока росла на зыбких кочках, между которыми стояла вода.

Что делать, охотник?

Я подумал-подумал, пригнулся и потихоньку-полегоньку с кочки на кочку стал приближаться к стае.

Кочки пружинили и всё норовили столкнуть меня в воду, что стояла между ними, а я шаг да по шагу сокращал расстояние между мной и дичью.

Двигался я долго, полчаса, а возможно, и дольше, ни разу не всплеснул водой, не зашумел осокой, не чихнул и

не кашлянул. Уток самих во время передвижения я не видел, а только догадывался, где они приблизительно, и сердце моё билось часто-часто.

В руках у меня было старинное бельгийское ружьё о двух стволах с закопчёнными от многих выстрелов замками, и на металлических щеках, на левой и на правой, была выгравирована собака, бегущая за уткой.

Ружьё отличалось длинными стволами и хорошим, если не отличным, боем.

Заманчиво было ударить по уткам с дальней дистанции, но я боялся наделать подранков и замыслил выстрелить наверняка.

«Вот подкрадусь к птицам на выстрел, — думаю я, — дождусь, когда они сплывутся, из одного ствола сниму штуки три или четыре. А из другого ствола выстрелю влёт. Удача близко, а кому охота пропустить её?»

Комары отчаянно жгли лицо и руки, но я терпел — утешал себя мыслью, что после выстрелов охлопаю себя и с наслаждением перебью их всех до одного.

Шаг да по шагу, шаг да по шагу...

Близко от себя я слышал тихое кряканье, щелоктание, мирные утиные разговоры и замер.

Я не видел уток, но, судя по их голосам, они были рядом — метрах в пятнадцати или в десяти от меня, и я подумал: «Перестарался ты, парень. С такого расстояния трех уток не накроешь: дробь кучно идёт, а назад пятиться поздно».

У индейцев Северной Америки в старые добрые времена была «оленья лихорадка» — при встрече с диким оленем из-за волнения бывало трудно выстрелить в него, руки ходили ходуном. А у меня началась «утиная лихорадка» — утки рядом, а стрелять не могу, руки дрожат. До этого я целый день бродил по лугам и ни одной утки не встретил, а тут пожалуйста, рядом со мной целая стая.

Мало-помалу я успокоился, взвёл оба курка, они были тугие и надёжные. И звуки их — два холодных и чётких щелчка — прозвучали оглушительно, однако уток не вспуг-

нули и, прочнее утвердившись ногами на кочке, я стал выпрямляться для выстрела.

«Стреляй туда, где утки сплылись,— наказывал я себе,— и только они поднимутся в воздух, бей в угон из второго ствола».

Я и выпрямиться не успел, как под стволами ружья крикнуло.

В чём дело?

Ружейными стволами я раздвинул осоку и в метре от себя увидел крякового селезня.

Он сидел между кочками на ржавой воде и меня не видел.

Оранжевым клювом он что-то выбирал из-под кочки, но когда стволы моего ружья раздвинули осоку, селезень поднял свою тёмно-бархатную с изумрудным отливом красивую голову. Весь он — тёплый, зелёный, с каштановым зобом — был в нескольких сантиметрах от среза ружейных стволов и, взглянув в них, как в два больших, сведённых к переносице чёрных глаза, тихо подал голос, словно представился: я, мол, кряковой селезень, а ты кто?

— Ты кто?

В этот момент я нажал на курки, на один и на второй. Как это произошло, я и сам не знаю.

Первым выстрелом красавцу селезню снесло голову, а вторым разметало его всего.

Меня же с головы до ног окатило грязью и кровью, залепило глаза.

Ничего не видя, я слышал, как с плеском и грохотом поднимается в воздух утиная стая и покидает озеро Садовое.

Я протёр глаза и с грязи, облепившей мою штормовку, снял каштановое пёрышко — всё, что осталось от красавца селезня.

Я подышал на него, будто дыхание моё могло вдохнуть жизнь в это лёгкое пёрышко и кровинка по кровинке превратить его в живую сильную птицу.

Я спрятал в карман пёрышко, пробрался к открытой воде, долго соскребал и смывал с себя и с ружья болотную па-

хучую грязь напополам с кровью и, мокрый и сконфуженный, не скрываясь, побрёл обратно с кочки на кочку, пока не выбрался на сухую и твёрдую землю.

Что же я наделал-то? Зачем?

Жила-была красивая нарядная птица, хранила себя от опасностей, каждую весну и осень совершала тяжелейшие перелёты, выводила птенцов, приносила пользу хотя бы тем, что луга наши были живые, а не мёртвые и оглашались плеском её крыльев. Подкрался к ней, доверчивой, вооружённый до зубов охотник, как к какому-то смертельному врагу, и двумя выстрелами в упор разнёс её в клочья. Зачем? Какая польза от этого мне и природе?

И ещё подумалось мне тогда: «Борьба-то уж очень неравная. У меня ружьё, из которого можно и медведя свалить, а у утки ничего, кроме быстрого полёта. Но моё ружьё и в полёте настигнет её — мой выстрел быстрее самых быстрых крыльев. Да разве одно моё ружьё? На каждую утку приходится много охотников, пять-шесть ружейных стволов. Это уже не охота, а неизвестно что. Вот почему канонада в лугах слышна только в первые несколько дней открытия охоты. А потом она умолкает до следующего года, потому что всё выбито подчистую».

...Каштановое пёрышко я храню по сей день в своём письменном столе.

А охотиться на уток я больше не охочусь. Почему? Не знаю.

Может быть, на меня сильно подействовал этот случай, который я только что рассказал вам.

Возможно, и потому, что уток в наших краях осталось совсем мало и убивать их, последних, не хочется.

А ружьё то самое, бельгийской марки, с длинными стволами, плавным упругим изгибом ложи и приклада, с гравировкой на металлических щеках, где собака бежит за уткой, — это ружьё висит у меня на стене. Вычищенное, смазанное, ухоженное, само просится в руки, само, как влитое, приклоняется прикладом к плечу и ведёт планкой за летящей птицей.

Приятно на него смотреть, перебирать взглядом древесные

прожилки приклада, гибкие линии гравировки, курки, будто любопытные птичьи головы с хохолками, мерцание стволов, золотое зёрнышко мушки.

Красивое ружьё, что там говорить! На стене оно висит, никому не мешает.

РЕЧКА КАРИНКА

Ударил зной, и рыба на озёрах клевать перестала.

Солнце в лугах вставало без тумана, сухое и бессонное, и к полудню травы начинали потрескивать, как свечи. Бесцветным пламенем струился нагретый воздух, и с ближних болот наносило запах гари.

Поздним утром после неудачной рыбалки я забрёл на кордон — на краю лугов и леса — спросить холодной воды.

Людей на кордоне не было, и, громко стуча сапогами, я обошёл пустые комнаты пятистенной избы со словами:

— Здравствуйте, хозяева!

Но ответа не получил.

Я прошёл в огород к колодцу с воротом, опустил бадью в его глубокое нутро и, царапнув бадьёй о дно, поднял на свет немного воды пополам с песком.

Я подождал, когда вода отстоится, пригубил её, не холодную, не тёплую, и увидел, как из-за забора за мной наблюдает девочка лет десяти. Наши глаза встретились, и девочка хотела спрятаться, да я опередил её своим здравствованием:

— Здравствуй, хозяйюшка!

— Здравствуй...

— Тебя как зовут?

— Катя...

— Катя, чего ты так тихо говоришь? Ты меня не бойся, я попью и дальше пойду.

— Я не боюсь, — ответила девочка. — У меня папа на сеновале спит.

А с сеновала по деревянной скрипучей лестнице уже

спускался Катин отец — босиком, в расстёгнутой рубахе.

— Уснул вот,— повинился он, выбирая сенинки из волос.— Ночью болото тушили, пожара большого не было, а так торф с краешку горел, ворочался огонь, как красный медведь. Мы его и потушили. Дождя бы надо. Сгорят хлеба, всё сгорит.

— Ой как надо бы дождя! — подтвердил я.

Хозяин подал мне ладонь лодочкой и представился:

— Степан Васильевич.

Я назвал себя.

— Очень приятно,— сказал лесник и кивнул на моё удивление: — Не берёт?

— Поплавок не шевельнуло.

Степан Васильевич почесал затылок и посоветовал:

— Ступай-ка ты на речку Каринку. Иди по этой дороге на гору, никуда не сворачивай и в первом овраге увидишь речку. Она хоть и невидная, а рыбы в ней много. Катя,— спросил он у своей дочери,— ты на той неделе сколько голавлей поймала? Десяток?

— Семь штук.

Я поблагодарил лесника и по жаре пошёл искать речку Каринку. Я поднялся на гору, миновал три оврага и никакой речки не обнаружил. Полынная сушь, закаменелые коровьи следы, белое без жаворонков небо и больше ничего. В обед еле живой от жары я вернулся на кордон. На огороде Степан Васильевич и Катя пололи картошку.

— Не нашёл? — спросил Степан Васильевич.

— Не нашёл...

— Ладно. Идём чай пить, а там разберёмся.

Катя быстро разогрела самовар на сосновых шишках, налила всем чаю, выпила один стакан с хлебом и села на порожке слушать наши разговоры.

— Сыта? — спросил отец.

— Я много не пью,— тихо ответила девочка.

— Мы за тебя постараемся,— пообещал Степан Васильевич.— Я один весь колодец выпил, надо его чистить, всё никак не соберусь.

После семи стаканов чая он попросил девочку:

— Катерина, ты бы проводила гостя до речки Каринки, а то он опять плутать будет.

— А не высохла ли она? — спросил я.

— Она никогда не высохнет!

Мы с Катей пошли разыскивать речку Каринку.

Долго ли, коротко ли мы шли, только спустились в первый овраг с ископыченным днищем.

— Вот и речка Каринка, — обрадовалась Катя.

Я смотрел-смотрел и никакой речки не увидел. Я и раньше переходил этот овраг и теперь оглядывал внимательно копытные следы, большей частью твёрдые от зноя. Присмотревшись, я обнаружил, что местами они влажные и вязкие и из следа в след где точится, а где и стоит вода. Но так её мало, что пройдёшь по ней и не заметишь. А если и заметишь, то ни речкой, ни ручьём её не назовёшь.

— Идите сюда, — позвала девочка.

Она раздвинула осоку у обочины, и я увидел гнездовую лунку с пустыми в крапинах скорлупками яиц.

— Утка птенцов вывела, — шёпотом сказала Катя. — Я ещё три гнезда таких знаю.

— А речка где? — спросил я.

— Здесь она.

— Здесь-то здесь, а где?

По осоке, чуть подальше брошенного гнезда, по рябому песчаному дну пробиралась вода шириной с полметра, глубиной с ладонь. Девочка вытащила из осоки таловый прут с короткой леской и большим заржавленным крючком, воткнутым в комель.

— Катя, — удивился я, — да неужели тут рыба есть?

— Голавли да пескари.

— Тут же всё насквозь видно!

— А вы подальше от воды сидите.

Катя облепила весь крючок белым хлебом, так что он стал похож на толстую гусеницу, забросила его в воду.

— Без поплавок?

— Без поплавок. В проводку.

Я ждал минут десять или пятнадцать, когда у Кати заклюёт. Но у неё не клевало, и она терпеливо забрасывала удочку, крестила воду, как здесь говорится, и молчала.

— Может, тебе выбрать поглубже место?

— Нет.

Сказано это было по-взрослому, уверенно и немного сердито, — не мешай, мол, рыбачить, и я потихоньку пошёл вниз по течению высмотреть место для моей поплавочной снасти, пока не нашёл омуток метра два в диаметре, налитый тёмной карей водой. Я насадил навозного червя и забросил удочку.

«Каринка, — думал я, — это, наверное, от слова «карий». Каряя вода. Зовут ведь карюю лошадь «Карюхой». Почему бы похожим образом не назвать речку, пусть даже такую крохотную? Эх ты, речка-кроха, речка-крохотулина! Есть в тебе рыба или нет?»

На небе проступала луна, и была она ещё неяркая, как сгусток тумана, и вскоре отразилась в моём омутке. По её отражению проплыла водяная крыса, седая от старости или от отлунья, с хвощинкой в зубах, и можно было подумать, что это не хвощинка, а длинные усы. А вслед за крысой мимо меня тише тихого проскользила утка с восемью утятами — и растворилась в осоке. В омуте сыграла солидная рыба, и сердце моё заколотилось часто-часто.

«Чего же ты не клюёшь? — подумал я. — Плескаться-то все умеют, а вот клевать...»

Осока около меня шуршала. В разных местах речки Каринки, то ниже, то выше по течению, кричали коростели.

— Поймали что-нибудь? — слышался голос за спиной.

Я вздрогнул от неожиданности и увидел Катю.

Она стояла в осоке, набрякшей росой, и тихонько дрожала. В руках она держала тоненький прутик с насаженными на него голубыми голавлями, на которых блестела луна. Голавли висели головами вверх и шевелили хвостами.

— Ты... одна поймала? — спросил я.

— Одна.

Я помолчал и ещё спросил:

— А я почему не поймал?



— Я не знаю,— смешалась девочка.— Я вам половину голавлей отдам. А то и всех. Мне не жалко.

— Да ты что, Катя! Сегодня не поймал — завтра поймаю. Я на червяка рыбачил, а надо было на хлеб.

— Надо, как я... Весь крючок хлебом облепить!

— Обещание даю: я так и буду.

Я смотал удочку, и мы пошли на кордон.

Луна разгорелась вовсю, и от неё заголубела всхолмлённая земля по сторонам дороги, а сама дорога отсвечивала как река, и горько и нежно пахли в потёмках травы — они воспрянули в предчувствии дождя.

Наискось через луну, через её полное лицо повязкой легло тёмное облако, и Катя сказала:

— Луна — Кутузов.

Облако опустилось. Луна стала лысой, высоколобой, а лицо её от бровей было закрыто полупрозрачной повязкой, и Катя уверенно определила:

— Луна — Фантомас!

Облака вились около луны, облегали её, словно курчавые волосы, и девочка с радостью показала на неё свободной рукой:

— Луна — Пушкин!

Шла она быстро-быстро, как ходят все занятые деревенские люди, крепенькая, с выгоревшими добела волосами, с прутиком в руках, унизанным тяжёлыми голавлями, на которых играл лунный свет. А я — бывалый ходок — старался не отставать от неё, и оба мы молчали и радовались этой ночи, обещанию долгожданного дождя, по которому стосковалась земля-кормилица.

ТРЕХЛАПКА

Озеро Трёхлапка небольшое, но обойти по берегу его нельзя — кусты не пустят.

Три залива, три лапы сошлись в низине, затенённой деревьями и кустами,— вот вам и Трёхлапка. Два залива небольшие — все на виду, их и оглядеть и обойти можно,

а на третьем споткнёшься. Дальний конец его уводит в чащобу, в уремú, как её здесь называют, ни пройти, ни проехать.

Раньше озеро славилось глубинами и рыбой, а теперь стало зарастать. Обошёл я две малые лапы, обе они травой затянуты, удочку закинуть негде. Что же делать-то?

Вышел я на третью, на большую лапу. Тёмная вода, глубокая. То есть как это — глубокая? А это что? Близко от поверхности воды колыхается толстая трава, да много её.

Подождите, а трава ли это?

Никакая это не трава, а язи. Стоят один к одному, поднялись подышать воздухом и плавниками шевелят, будто вода перебирает, укладывает зелёную с краснинкой траву. Никогда в жизни не видел я сразу столько язей.

Не успел я закинуть удочку — наверху зашумело. Мальчишки прошли, удильщики, слышно, как от быстрой ходьбы посвистывают в воздухе подсечки — гибкие концы удилиц. Затаился я: язей бы не вспугнули. Затихло наверху, а у меня внизу зачмокало.

Собака, старая и худая, недалеко от меня лакала воду. Опять затаился я, стою не шелохнувшись, пережидая, когда она лакать перестанет. Долго она лакала — видно, что-то жирное съела, до того долго, что я подивился, как в неё, такую худую, столько воды убралось. А она всё лакает и лакает, как бы всё озеро не выпила!

Мне её хорошо видно сквозь оконце в тальнике, а она меня не видит. Напилась собака, жёлтые глаза сощурила, постояла, тяжело дыша, с высунутым языком. Жарко ей. Видно, раздумывает, пить ещё или не надо, без аппетита попила ещё и ушла в чащобу, как растаяла.

Теперь можно и порыбачить.

Посмотрел я в воду, а язей нет. Ни одного. Как же так — только что были, а теперь нет?

А чего особенного — на глубину ушли язи, надо их там и искать.

Закинул я обе удочки на самую глубину — поплавки сдвинул под подсечки, — сел и стал ждать поклёвки.

Сижу я у озера Трёхлапки, как в колодце. Берега крутые, высокие, от кустов и деревьев ещё выше и круче. Там наверху солнце ходит, телеги скрипят, мотоцикл протарахтел, а здесь внизу тихо, сумеречно и влажно.

Поплавки у меня не шевельнуло, озеро заснуло и потемнело задолго до того, как село солнышко.

«Не приснились же мне язи? — думал я. — Не померещились? Да нет, здесь они все и никуда из озера не ушли. Сейчас не берут — утром возьмут. Здесь под берегом я и заночую, а на зорьке их встречу».

Стал я собирать сушняк в чащобе. Земля здесь вязкая, сапоги с меня стаскивает, и на ней яснее ясного огромные собачьи следы.

Я ещё подумал:

«Ничего себе лапища! Если перевести на человеческий размер — подавай обувь сорок шестого размера, не меньше».

Наверху ещё было светло, а у меня у озера — сама полночь. В чёрной воде дрожали звёзды, более яркие, чем на небе. И только я затеял костёр — звёзды погасли. Я прилёт между костром и сухой стенкой берега, и мне стало тепло и хорошо. Любой рыболов или охотник вам посоветует, если вы зябнете у огня:

«Сделайте стенку, устраивайтесь между ней и костром, и всё тепло будет ваше».

Я проснулся среди ночи и увидел над собой часть звёздного неба. Звёзды виделись, как в подзорную трубу, крупные и густые. Их было много, если присмотреться, то и неба-то не было, одна звёздная метель.

Близко от меня собака лакала воду. Наверное, от этого домашнего звука я и проснулся тогда.

«Хорошо-то как! — подумал я. — Всё по-домашнему, костёр погас, вздыхает, как печка. Собака воду пьёт. Откуда она? Может, косари близко ночуют, вот она от стана сюда и бегает на водопой».

С такими домашними мыслями я уснул и проснулся утром в тумане.

Озеро и спать ложилось рано и просыпалось поздно —



наверху давно погасли звёзды, взошло солнышко, а здесь по-прежнему было сыро и сумеречно.

В потёмках я поймал несколько некрупных плотиц.

«Где же язи-то? — размышлял я. — Рано или поздно они должны клевать. Или они здесь не едят, одним святым духом питаются? А если их на мелководье поискать — в дальнем конце лапы, там, где самая урема?»

А как я туда пройду?

Увязая в грязи, с удочкой и садком для рыбы, я попытался пробраться в дальний конец озера и набрёл на тропу из крупных собачьих следов, пробитую в сыром и пыльном кустарнике, мёртвом внизу и зелёном наверху.

Я храбро полез в кусты по тропе — мне хотелось знать, куда ведёт эта тропа, к какому такому логову. Кусты не пускали меня, царапались и обволакивали паутиной, но земля пошла твёрже, и в корнях широкого талового куста

я обнаружил логово — неглубокую нишу, а рядом клочки шерсти и старые, чёрные от времени кости. Пахло здесь нехорошо — гнилым мясом, и, сдерживая тошноту, я решил выбраться отсюда к озеру, как вдруг увидел собаку.

Она лежала, уронив голову на передние лапы, и смотрела на меня немигающими жёлтыми глазами, в которых мне виделась просьба и боль. «Плохо мне, — говорили эти глаза, — вот поэтому я и не боюсь тебя. Я не собака — я волчиха, только одинокая и старая. Ты можешь позвать охотников, чтобы они убили меня. Сейчас мне всё равно. Я давно уже не охочусь на крупную дичь, а кормлюсь чем придётся — мышами или падалью».

Я хотел оставить ей мой улов — несколько плотниц, но не оставил, испугался, наверное, попятился и выбрался к озеру.

Я поднялся наверх — в лицо мне ударил свет просторных, в цветах, лугов, по которым ветер катил зелёные и золотые волны.

Хорошо-то как!

Волны подкатывались к моим сапогам, вымазанным в глине.

Мимо меня, задевая вершинками удилиц о траву, быстро-быстро прошли вчерашние мальчишки — после ночёвки спешили домой, будто на пожар.

Где-то вдали протарахтел мотоцикл. Я шёл по лугам, и жаворонки выпархивали из травы от моих шагов и, поднимаясь в небо, синее и тихое, не сразу начинали петь, по-видимому некоторое время присматривались ко мне, не обижу ли я их, и вспоминали слова своей вечной песенки. Мир лежал вокруг меня открытый и дивный, и дышалось мне легко и вольно.

А внизу, затенённое от посторонних глаз, затаилось озеро Трёхлапка, со своей не разгаданной мною жизнью — с неуловимыми язями, с волчихой, еле живой от старости. Со стороны это озеро как утка на гнезде — пройдёшь в трёх шагах и не заметишь.

НАДЯ И ЗАЙЧОНОК

Я шёл с рыбалки вдоль Вятского залива Паползиhi, что блестел внизу между берёзами, и на тропинке нагнал Надю, высокую девочку двенадцати лет, дочь хозяев дома рыбака и охотника. Была она одета в великоватую мамину кофту, а под кофтой, придерживая обеими руками, что-то несла, бережно, будто пламя свечи. Сегодня мы не виделись, и я поздоровался:

— Здравствуй, Надя.

— Здравствуйте.

— Из магазина?

— С сенокоса.

— Травы нынче замечательные!

— Не жалуемся.

И тут я увидел кровь на пальцах девочки, которыми она придерживала кофту.

— Надя,— ахнул я,— у тебя пальцы в крови!

— Не моя это кровь,— ответила девочка и одной рукой приподняла край кофты. Там на ладони другой руки сидел зайчонок, серый, в робких пестринах, с белым пятном на ухе. Был он до того мал, что я не сразу понял, кто это передо мной. На шерстке его темнела кровь.

Я спросил:

— Кто это его?

— Джек. Мы сено косили и зайчонка выпугнули. Джек его поймал и хотел съесть. Еле-еле отняла! Чуть меня не укусил.

Джек — это хозяйский пёс неопределённой породы с преобладанием демократических дворняжьих кровей. Вида он невзрачного, а по характеру настоящий лесной житель, чья родословная, как родословная всякой собаки, по мнению учёных, берёт прямое начало от волков. В своё время он дрался с рысью, и если бы не моё вмешательство, неизвестно, чем бы кончилось это столкновение: рысь была намного крупнее его. Что делать — дом рыбака и охотника, который охраняет храбрый Джек, расположен в лесу, населённом

всевозможными живыми существами. В смелости Джеку не откажешь, но не откажешь ему и в жестокости, и зайчонка нам было жаль обоим.

— Сильно он его помял? — спросил я.

— Сильно.

— А жить будет?.. По-моему, будет.

— По-моему, тоже.

Дом рыбака и охотника стоял на просторной поляне. Навстречу весело выбежал Джек, но по Надиному лицу понял, что радоваться особенно нечему, отбежал в сторону и с равнодушным видом лёг на траву.

Зайчонка Надя поместила в ящик, постелила прозрачных листьев капусты, а сверху, чтобы гостя не обидели ястребы или иные хищники, накрыла ящик застеклённой рамой.

Живи да радуйся!

По несколько раз на дню я подходил к ящику посмотреть, как живётся гостю. Зайчонок жил, но не радовался. Слыша мой взгляд, он прижимал к спинке огромные уши и мелко-мелко дрожал. Я догадался положить на стекло ветхую стёганку — зайчонок спрятался в темноту, и позднее по слабому скрипу-точению я понял, что он выбирает из-под себя капусту и ест.

И мы радовались.

Надя назвала зайчонка Димкой.

Через день девочка взяла Димку на руки, принесла домой и посадила посредине горницы.

Зайчонок подрожал-подрожал, вжался в пол, стал меньше меньшего и убежал под кровать. Мы полезли его искать, но под кроватью зайчонка не оказалось. И вообще его нигде не было. Не скрылся ли он в лесу? Нашли мы его под вечер в щели между стеною и комодом. Сверху он виделся узеньким и тёмным, как рыбка со спины. Я так и сказал девочке:

— Надя, он как рыбка со спины!

Она поколебалась и рассудила по-своему:

— Он на игрушечный автомобиль похож. — И спросила: — Чего он всё дрожит? Может, простудился? Аспирином его напоить?

— Не надо его поить аспирином,— ответил я.— А дрожит он на всякий случай, чтобы быть всегда начеку и со всех ног убежать от опасности.

Мало-помалу Димка осмелел и стал прогуливаться по комнате. Однажды при мне Надя вынесла его на крыльцо. День был солнечный, свежевывстрюганное крыльцо светилось, поляна с краями была полна жаркого струящегося воздуха, и Димка, потрясённый обилием тепла и света, прыдал огромными ушами и жмурился, вспоминал и постигал этот яркий полузабытый мир.

— Живи, Димка! — говорил я.

А он не боялся меня, сбоку смотрел на меня выпуклым глазом и по голосу моему догадывался, что я желаю ему добра.

Я ушёл на рыбалку с ночевьем, вернулся к вечеру другого дня и застал Надю в слезах. Я и спросить не успел, что стряслось, как она еле выговорила:

— Димку Джек съел.

— Не может быть!

Она отвернувшись, показала рукой на край крыльца. Там лежал серый окровавленный лоскуток с белым пятном посерёдке — заячье ухо. Надя всхлипнула:

— Больше ничего не осталось.

— Это не Димкино ухо...

— А белое пятно посерёдке?

Я не знал, как утешить девочку, и спросил:

— Джек где?

— В лес убежал.

— И носа не кажет?

Девочка кулаком погрозила лесу:

— Я его домой ночевать не пущу!

Я дотронулся до плеча Нади и бодрым голосом сказал:

— Он не Димку съел.

Не переставая плакать, она спросила:

— А кого же?

— Другого зайчонка.

Потом я прибавил:



— Может, он у Димки ухо оторвал, и живёт теперь Димка с одним ухом. А чего? Так бывает.

Надя перестала плакать, надулась и ушла. Ушла она, как я понимаю, по одной причине — догадалась, что я выдумываю, и обиделась на меня.

Не сумел я утешить девочку.

В этот день я видел Джека издалека. Он показался на краю поляны, замахал хвостом, побрёл ко мне, но приблизиться не решился. Видимо, было в моих глазах неумолимое осуждение — не подступись. Джек не стал подлизываться ко мне, ссутулился и ушёл в лес.

«Что теперь сделаешь? — сказал он всем своим видом. — Теперь ничего сделать нельзя».

Так до конца моего отпуска мы с Джеком ни разу не поговорили по душам. Много дней спустя на просеке у поляны я увидел зайца — серого, гладкого, с влажными блестящими глазами. Он стоял на задних лапах, передними придерживал ветвь молодого орешника и мягким ртом обирал с неё листья.

Меня он не видел, я тихонько отступил на поляну. Прибежал в дом рыбака и охотника и, задохнувшись, позвал девочку:

— Надя! Наденька!..

Она перепугалась:

— Что стряслось?

— Надя, там Димка. Живой!

— Живой?!

— Живой.

— Неправда.

Стараясь ступать тише тихого по мелкой траве, мы с Надей неслышно подобрались к просеке и остановились.

Заяц ещё кормился у орешины, потрескивая ветвью, и не замечал нас. Вот он выпустил ветку, умылся передними лапами, как котёнок, огляделся и увидел нас.

Мы не шевелились, а дикие животные — это по своему опыту я знал хорошо — не боятся неподвижных предметов,

одушевленных или неодушевлённых. Заяц рассматривал нас одним глазом, потом, повернувшись, другим, и во взгляде его были и насторожённость, и любопытство, и подстрекательство: пошевелинитесь, мол, знаю же, что вы живые.

И всем своим обликом он очень походил на Димку, только большого и без белого пятна на ухе.

Кто кого переждёт — он нас или мы его?

Надя устала стоять и переступила с ноги на ногу. Заяц метнулся в орешины, и его не стало.

Был ли он?

— Быстрый како-оой! — протянула Надя и насупилась. — Не Димка это был.

Я молчал. Девочка прибавила с некоторым вызовом:

— Большой он для Димки!

Я снова промолчал и девочка неуверенно сказала:

— Димка не успел бы так вырасти.

И опять я не проронил ни слова.

ТЕПЛО

Отец пришёл с мороза, выпустил облако пара, захлопнул дверь и еле выговорил:

— Вот вам и Новый год!

— Мороз? — сочувственно спросила мать.

— Калит. Дышать нечем.

На печи, где лежали дети — Олег десяти и Игорь семи лет, — было жарко. Но от отцовских слов они озябли, от того как он раздевается и не может раздеться, как протягивает к огню в красное зевло печи негнущиеся пальцы и повторяет:

— Вот вам и Новый год!

Отец увидел детей на печи и спросил:

— Соскучились?

Они бровями зашевелили: соскучились, мол, да ещё как.

— Учиться эти дни не придётся, — говорил отец. — Я только что из Слудки, на тракторе приехал. На школе

белый флаг висит: никакой учёбы.— И ещё сказал отец: — В школе детям профсоюзные подарки давали...

— Что не привёз? — загорелись ребята.

— Школа была закрыта. А учительницу разыскивать мне некогда было, трактор остывал,— ответил отец.

А мать прибавила:

— Потеплеет — все подарки ваши будут.

В эту ночь дети долго шептались на печи. Какие подарки им приготовила школа? Конфеты, печенье или игрушки? Самосвал, пулемёт или автомат? Бывают же такие автоматы: нажмёшь на спуск, слышится трескоток, а в стволе, будто вспышка от выстрела, загорается лампочка.

— Стрелять-то мне больно охота,— говорил Игорь.— Терпения нет.

Олегу тоже хотелось стрелять, но он крепился и поучал:

— За мир надо бороться.

— Как это? — спрашивал Игорь.

— Вы будете спать или нет? — прикрикнула мать из темноты.— Шу-шу-шу... Шу-шу-шу... Шу-шу-шу... Сколько можно?

К утру мороз будто бы ослаб. Синели окна в толстых шубах инея, от печки по избе ходили тёплые токи. В полном сборе семья рано позавтракала. Дети дождались, когда родители уйдут на работу — отец в мастерские, а мать на ферму, оделись потеплее и пошли в Слудку за профсоюзными подарками.

До Слудки все пять километров, но если срезать путь по лесной тропочке, то неполные три, и дети надеялись вернуться домой к обеду.

С большака они свернули на тонкую тропочку. В лесу, что постанывал от мороза, она стала ещё тоньше, а потом пропала, будто устала и раздумала идти дальше. Ребят это не напугало. Проваливаясь в снегу, они спешили туда, где между соснами блёклой радужиной брезжило солнце. Там и была Слудка.

Небо опускалось, и ни снежинки не выпорхнуло из него, белого, теперь без единого проблеска солнца.

Земля круто пошла под гору, и дети, придерживаясь за стволы и ветки, стали спускаться. Рядом Олег услышал треск и не обнаружил Игоря. Следы брата вели к разлатой ёлке и обрывались. Олег ухватился за ветку и заглянул вниз. Внизу далеко-далеко, у отвесного белого обрыва, копошилась чёрная точка — Игорь!

Как он там?

Олег подался вперёд, чтобы получше разглядеть брата. Хрупкая от мороза ветка, за которую он держался, треснула и сломалась, и мальчуган полетел вниз. Его понесло по склону, несколько раз больно стукнуло в спину, кинуло в снег, и снег, как озеро, сомкнулся над его головой. Он долго выкарабкивался, выплывал наружу, а как выплыл, то не мог отдышаться. Отдышался, собрался с силами, выволок брата на мелкое место и огляделся.

Кругом лежала широкая, в застывших гребнях снега, равнина — река Вятка зимой. Вон куда их занесло! Теперь домой надо торопиться, пока не замёрзли, а не в Слудку: до дома ближе.

Дети шли по Вятке, там, где снег был помельче и ступать было легче. Лютый ледяной воздух одел их с головы до ног. От него больно было дышать, слипались ноздри, и казалось, будто идёшь ты по холоду в одной рубашке.

До дому бы успеть, до тепла.

А Игорь-то где?

Олег обернулся и увидел брата. Далеко позади тот лежал на снегу. По своим следам Олег вернулся к брату, опустился перед ним на колени и увидел на лице его замёрзшие слёзы. Мелкие ледышки пристыли к щекам, к уголкам губ и подбородку. Всё лицо было белым, а глаза закрыты. Всхлиывая, Олег зачерпнул варежкой снег и принялся тереть лицо брату. Мало-помалу на лице Игоря проступила краснота, он заморгал, и тут бы братьям самое время идти дальше. Олег поднялся и сел в снег.

«Что это со мной?» — подумал он, прикрыл глаза и увидел отца с матерью.

Они улыбались ему и говорили:



«Помощник растёт!»

«Долго ещё расти...»

«Долго? — наклонилась над ним мать. — Сам не заметишь, как вырастешь».

Олег открыл глаза — отец и мать исчезли. В воздухе, посверкивая, струились искры и оседали на тёмной шубейке Игоря.

Не с первой попытки Олег встал, еловой веткой, которую он не выпускал из рук после падения с кручи, крупно вывел на снегу «Я жив!», лёг рядом с братом, разлепил губы и, дыша ему в лицо, прошелестел:

— Вставай. Замёрзнешь.

Не открывая глаз, трудно выговаривая слова, тот спросил:

— Если замёрзну, я умру?

— Умрёшь.



— Совсем умру или не совсем?

— Не совсем,— не сразу ответил Олег.— Если со мной пойдёшь...

Он повёл глазами и под берегом увидел бакенку — избушку бакенщика. Издалека среди сосен и снега она походила на большой, природой тёсанный камень, «бык», что встречаются у берегов Вятки и Камы. И воспрянувшим голосом Олег прибавил:

— Если со мной пойдёшь. Не далеко. До той бакенки...

— До какой?

— Вон до той.

Олег поднялся первый, подал руку брату, затоптал слова «Я жив!», палкой написал «Мы живы!», и дети двинулись к жилищу.

Бакенка была пуста, промёрзла насквозь, но в устье потрескавшейся печки Олег нашёл коробок с несколькими спичками. Он собрал всё, что могло гореть — клочок газеты, щепочки, сам коробок, сложил всё это грудкой, зажгёт, и в печи, в дыму, затеплилось слабое, как крыло бабочки, красное пламя. Трубу забило снегом, и весь дым шёл в бакенку, но жило в нём пламечко, и братья подставляли ему обмороженные лица и тянули в одно дыхание:

— Тепло-ooo...

Кто это? Опять отец с матерью наснились Олегу? Да нет — наяву они.

Людей набилось в бакенку много, знакомых и незнакомых, а впереди всех отец с матерью. Заросли они по глаза густой снежной щетиной и не то смеются, не то плачут, не то у них морозом лица свело и слёзы выжало. Завернули они братьев в тулупы, в косматое и душное тепло, и понесли к трактору.

— Мы вас по следам нашли да по надписи «Мы живы!».

Олег успел увидеть Вятку — просторно лежали снега, малиновые на гребнях, и удивлялись клубящемуся закату солнцу.

На тракторе детей привезли домой, напоили чаем с малиной, уложили спать на печи, и проспали они без про-

буждения восемнадцать часов. Проснулись и слышали разговор родителей.

— Вот вам и Новый год,— говорил отец.— С крыш каплет.

А мать первая увидела детей и всплеснула руками:

— Поспали? Глаза-то какие ясные!

— Папа,— подал голос Игорь,— а профсоюзные подарки ты привёз?

— Привёз, как не привёз,— ответил отец.— Вон они, кульки с конфетами, все ваши.

— А автомат? — спросил Игорь.

— Какой автомат?

— Который строчит и с лампочкой...

— Не слыхал я про такой подарок,— ответил отец, а мать прибавила:

— Детьнышки, да господь с ним, с автоматом! Ладно, что вы живы-здоровы! Слезайте с печи, будем полдничать или ужинать — не знаю, как сказать... Завтра в школу: на улице-то весна!

ЦВЕТУТ ЛИПЫ

В разгар лета жар, тугой и пряный, пышет в лицо с утра до позднего вечера и никак не может остыть за ночь.

Только к рассвету, вместе с усталыми людьми ненадолго смежив веки, жар забывается коротким сном и вместе с солнцем ходунюм ходит по прокосам.

Огненными запахами дышит лето красное, и старый косарь на лугу покачнётся, обопрётся о косу и с удивлением скажет товарищу — молодому косарю:

— Что это я? Не пил, не гулял и в бане не угорал, а на ровном месте падаю.

А молодой косарь и не слышит — работой занят, на два ряда обогнал старого и не думает отдыхать. Коса в его руках так и играет, так и светится.

Но вот покачнулся и он, но не поверил, что и его разобрала жарынь, размахнулся косой и остановился на замахе:

— Что это я?

Плывут луга перед глазами.

— Петрович!..

— Чего? — отзовется из-за кустов старый косарь. — Иди отдыхать.

— А не рано?

— Самое время.

Старый косарь лежит в тени талового куста и будто спит, глаза его закрыты.

Молодой опускается рядом, выпивает полбидона холодной воды и, сразу охрипнув, говорит:

— Хорошо-оо...

Старый косарь открывает глаза и спрашивает:

— Слышишь?..

— Чего?

— Липа зацвела.

Молодой раздувает ноздри, выражение его лица такое, будто он прислушивается к чьим-то шагам.

Ленивый ветер приносит широкий и устойчивый запах мёда. Лип не видно отсюда; ветер успокаивается, а запах мёда остаётся — сладостный и такой отчётливый, будто липы рядом, протяни руку и коснёшься ветвей и листьев.

— Эх ты, окаянная! — Молодой косарь бьёт себя по шее и стряхивает на отаву расплюснутую пчелу.

— Зачем ты её? — качает головой старый косарь. — Ужалила, что ли?

— Нет, не ужалила. Собиралась ужалить...

— Ей нынче не до ужаливания — она на работе. Мёд собирает.

Молодой оправдывается:

— Разве я знал, что пчела? Я думал — овод. А потом, она зарок не давала не жалить. Она обещала тебе, Петрович, не жалить нас?

Петрович не отвечает. Он сидит не шевелясь и смотрит на

обшлаг рубахи, на две белые пугови, по которым ползает пчела.

— Другая? — шёпотом спрашивает молодой.

— А ты как думаешь? Твоя вон на траве лежит кверху лапками.

Пчела устала, перебирает ножками, не трогаясь с места, и Петрович шёпотом говорит с ней:

— Устала? Сколько вам за трудовень платят?

— За трудовень?.. — смеётся молодой.

— Немного им платят, — рассуждает Петрович. — А много они и сами не возьмут. У них на работе одни женщины. А мужчинам эту работу они не доверяют. Да и как доверить? Мужчин они всех прогнали — живите, как хотите, гуляйте, а мы без вас обойдёмся. И теперь управляются сами.

— А у людей не так...

— У людей без мужика нельзя. Без нас с тобой дело остановится.

Слышно, как за кустами стрекочет косилка, и её голос похож на стрекот большого сердитого кузнечика. Луга в здешних местах убирают косилками, и только там, где машина не пройдёт, косят косами.

— Эх ты, — говорит старый косарь. — Полетела! Ну, лети, лети. Счастливый путь тебе! А устанешь — отдыхай, не стесняйся. Ты зря отдыхать не будешь.

Коси, коса,
Пока роса.
Роса долой —
И мы домой.

— Сейчас пойдём, — соглашается молодой косарь.

Однако оба идти не спешат, собираются медленно, допивают воду в бидоне, протирают лезвия кос осокой, обуваются, и идут они, не торопятся, держась в тени тальников.

Всё гуще, всё ярче пахнет мёдом — и вот они, молодые липы, что вдоль дороги прижались к пологому бугру. А сам бугор в высоких медноствольных соснах.



Вблизи липы пахнут слабее, чем в отдалении. Все они усыпаны светло-медовыми, ласковыми цветами и пчёлами, и оттого, что и тех и других много, цветы кажутся пчёлами, а пчёлы — цветами.

Клубится в тёмной зелени листьев золотой пахучий жаркий клуб лепестков и крыльев, идёт таинство сотворения самого прекрасного яства на земле — природного липового мёда.

Косари замедляют шаги, тихо проносят мимо белые, начисто вымытые росой и сочной травой косы.

— Работают пчёлки, — говорит старый косарь. — Пенсия им не положена. Они об этом не думают.

— А думают ли они о чём-нибудь?

— Кто знает?

— Да нет, они ни о чём не думают.

— Кто знает?.. Если бы совсем не соображали, то и мёда не было бы. Надо ведь догадаться — найти цветок, взять сладость, перегнать в мёд. Кто вот их научил?

— Это у них с рожденья.

— Кто знает?..

Пчёлы не замечают людей — им некогда, они спешат, их век короток, одно красное лето, им надобно прожить его, как жизнь — длинную и полезную, где нет ни отдыха, ни покоя, ни старости...

БЕЛЫЙ КОНЬ

При звёздах Саша остановил трактор, вышел из кабины, размялся, вдохнул запах поднятого под зябь поля.

Звёзды высыпали на небо разом, дрожали и переливались на нём до самой пашни и слабо отражались в жирных пластах земли — она пахла собой, корнями, травами, хлебом — первенцем, что сердито бродит в глиняной корчаге, прежде чем отправиться в печь и обратиться в румяный каравай.

«Звёзд-то, звёзд-то сколько! — подумал Саша. — Невысоко

они совсем. Если встать на кабину трактора, то вон до тех дотянуться можно. Вон до той звёздной горсточки».

Трактор ещё не остыл от работы. Широкая грудь его была тёплой, и, отходя ко сну, неслышно дышал он ухоженным, хорошо смазанным железом, а лемеха, выбеленные сырой землёй, отдыхали в борозде и неярко светились.

Саша кругом обошёл машину. Пареньку не хотелось уходить отсюда. Казалось ему, что трактору будет одиноко коротать одному ночь в поле.

— Ты тут не скучай без меня,— тихонько сказал Саша и погладил трактор по его остывающей под ладонью груди.— Завтра с утра я приду.

Саша был бригадиром школьной производственной бригады, сейчас на каникулах накануне десятого класса он работал в поле самостоятельно. И думалось ему, что с мотором он дружен давным-давно, с тех пор, как помнит себя. На самом же деле близко узнал он трактор с восьмого класса, но человеку нравилось считать, что постиг он машину с давних времён.

Паренёк пошёл в деревню, и после пахоты его качало.

«Ничего,— улыбался Саша.— Дойду. Тут недалеко».

Тихо было в поле, если не замечать уютных в ночи голосов других тракторов, невидимых отсюда. Они тоже поднимали зябь — загодя вспахивали землю для весеннего посева.

По тракторным голосам Саша стал угадывать, чьи машины работают сейчас, и от этого угадывания на душе было хорошо.

«И старики пахут, и молодые», — радовался Саша.

И увидел коня.

На высоких ногах, белый, словно туман, словно выданный из тумана, конь кормился сбоку дороги, и было слышно, как он с негромким треском отрывает траву, жуёт и тяжело вздыхает.

Чего он вздыхает-то?

Саша всегда носил при себе хлеб — для себя, для встречных животных и птиц, да мало ли для кого? Эту привычку



он перенял у матери, которая с малых лет учила его: «Ходи с хлебом, сынок. Голода нет и не предвидится. А ты всё равно с хлебом ходи — многие его хотят, хлеба-то».

— Белка! Белка! Белка! — первым пришедшим на ум именем Саша окликнул коня.

Тот поднял голову и не стронулся с места. Вкрадчиво, шаг да по шагу, Саша двинулся к нему, держа впереди себя руку с угощением. Ноздри коня шевелились, большие фиолетовые глаза диковато блестели.

— Чего ты? — как можно ласковей спросил Саша. — Я тебе худого не сделаю. Отведай.

И он протянул хлеб на ладони.

Конь шарахнулся в сторону и, разбрызгивая грязь, побежал вдоль дороги.

— Куда ты, глупый? Чей ты? Откуда? Я тебя прежде не видел... Отчего ты меня испугался?

Неглубокий, по колено, туман одел землю, прикрыл её слабым теплом от возможных холодов. Саша шёл по туману, как по легчайшей траве, и ощущал, как туман поднимается выше, до пояса, до плеч.

«Будто в озеро захожу, — думал Саша. — Вода по плечи. С головкой... С ручками...»

И опять увидел коня.

Белая сухая голова его, возносясь над туманом, смотрела на Сашу спокойно, даже задумчиво. Чего, мол, это я убегал от тебя? Человек ты, видно, хороший, хлебом меня потчевал. Дай-ка я рассмотрю тебя поближе.

Саша достал хлеб.

Конь вскинул голову и тоненько заржал — о чём-то спросил человека на своём языке. Саша ответил:

— Хлеб свежий, домашний.

Конь насторожился, и паренёк повторил:

— Свежий, говорю, хлеб, домашний. Сам бы ел, да дома ужин ждёт. А не стану ужинать — мама обидится. — И спросил Саша: — Тоскливо одному? По глазам вижу: тоскливо. Чей ты? Сам по себе?

Конь вслушивался в голос человека, глуховатый от работы голос, ткнулся в ладонь мягкими губами, подобрал хлеб, послушно, без видимого удовольствия, съел его и не спеша двинулся от дороги. Саша поспешил за ним и спросил:

— Куда ты меня ведёшь?

Конь не слушал, удалялся, таял в тумане.

Саша махнул рукой:

— Вольный ты!

Конь растаял. Ни звука. Даже тракторы не переговариваются в ночи. Саше стало страшно, и для храбрости он запел песню:

Как на Синий Ерик, как на Синий Ерик
Ударили татары в сорок тысяч лошадей...

Издаലെка он услышал стук дерева о дерево — это колотушкой о доску стучала бабушка Мария, что, будучи на пенсии, работала сторожем, склад охраняла. Саша обрадовался этому стуку необычайно, прибавил шагу и, ещё не видя бабушку, поздоровался:

— Мария Яковлевна, здравствуйте!

— Никак, Саша?

— Я.

— Здравствуй, голубок. Напахался?

— Ужинать иду.

— Поздно.

Теперь они стояли рядом, обоим было хорошо разговаривать посреди безлюдной этой ночи, и голоса у них были громкие, будто через речку.

— Днём, наверное, сильно в сон клонит? — спросил Саша.

— Да нет.

— Что так, Мария Яковлевна?

— Днём по дому хлопочу, по хозяйству, а устану — думаю. Сколько мне лет, забываю! Всё на двадцать — на двадцать один сворачиваю.

— А на тридцать? — степенно поинтересовался Саша. — На тридцать лет?

— Бывает, и на тридцать.

Показалась дымная луна, засияла на крышах, покрыла их красным кровельным железом, дотронулась до тумана, и поверх него, высоко вздымая голову свою, пронёсся белый конь, проплыл, проскользил, как видение, и померк. Только долго ещё слышно было чмокание копыт. Потом оно затихло, и Мария Яковлевна сказала:

— Из соседнего колхоза убежал. Его конюх крепко обидел: бил. Вот он не дался и убежал. Уздечку даже не дал на себя надеть. Днём прячется, а ночью пасётся. Третий месяц на воле.

— А что не ловили его?

— Ловили, как не ловили! Да разве поймаешь? На машине гонялись, да он в овраги ушёл. Снег выпадет — сам придёт.

— Сам?

— Около стогов подержится и придёт.

— Били его, — сказал Саша. — Пускай гуляет.

— Пускай!

Он простился с Марией Яковлевной и пошёл домой. В деревне огня не было, только в Сашиной избе горело одно окошко. Мать ждала его, подрёмывала на кухне, уронив в подол большие руки. Не успел он умыться, как она накрыла на стол, села с краешку и, подперев щеку ладонью, смотрела, как он ест.

— А сама?

— Ужинала уже.

— За компанию?

— За компанию чашку чаю выпью.

Саша вспоминал белого коня и улыбался. Мать спросила:

— Чему улыбаешься, сынок?

Саша хотел рассказать, чему он улыбается, да не было сил. Он только веками дрогнул: потом, мол, потом. Молча попили чаю, молча разошлись спать, и перед сном Саша пожалел трактор, что одиноко зябнет в поле, пожалел и

провалился в забытье. Ближе к утру ему приснился белый конь. Он не касался копытами земли, не бежал, а летел, стлался по полю, и хотелось мчаться на нём, чтобы ветер плескался в конской гриве, путал её, обжигал твоё лицо и высекал из глаз слёзы.

ПАННА МОЯ

В степной посёлок, где жила Таня, нагрянул студенческий строительный отряд строить Дворец культуры.

На постой в Танин дом определили студентку из Польши — высокую девушку с серыми глазами, с соломенными, коротко обрезанными волосами, в белой по швам, тесноватой штормовке, на которой был нарисован глобус с параллелями и меридианами.

Звали её Зося.

Вставала Зося рано, приходила поздно и ела чрезвычайно мало. Супа — треть тарелки, каши — чуть на доньшке, а хлеба в рот не брала.

— Да ты что, Зося? — укоряли Танины родители.

— Аппетита не имею, — отвечала Зося.

— Целый день на работе, на свежем воздухе, и — аппетита нет?

Зося признавалась:

— Аппетит я имею, но, — она хлопала себя по пояснице — очень хочу похудеть!

— Куда еще худеть? — сокрушались Танины родители. — Дальше некуда.

А Таня не вступала в застольные беседы и украдкой любовалась Зосей, как она ест, как говорит, медленно подбирая слово к слову, и красивый нездешний голос её наполняет комнату, как смотрит смелыми серыми глазами, и в них видно признание: «Никого я не боюсь и знаю, чего я хочу. А вы?»

Спала Зося в отдельной комнате. Однажды ночью Таня проснулась оттого, что за стеной слышала плач. Она прошла к гостье и шёпотом спросила:

— Почему вы плачете, Зося?

— Я не плачу.

«Может быть, мне показалось?» — подумала Таня и прошептала:

— Извините меня.

Из темноты прошелестело:

— Я не плачу. Я... как это по-русски?.. реву громким голосом. Руки болят!

— Я сейчас, — сказала Таня.

В темноте, не разбудив родителей, она нашла бинт, банку с вазелином, принесла это гостье, включила свет.

Ладони у Зоси были большие, распухшие и потрескавшиеся до крови. Таня смазала их вазелином и толсто забинтовала.

— До свадьбы заживёт, — уверила она.

Зося засмеялась, поцеловала Таню в щёку и сказала:

— У меня не скоро будет свадьба. — А потом спросила: — Ты не смотрела, как мы строим?

— Нет...

— Приходи. Я тебя приглашаю.

На самом деле Таня каждый день издалека, стеснительно наблюдала, как студенты кирпич по кирпичу выкладывают здание. Оно поднялось до половины первого этажа и проёмами окон, не замкнутых наверху, напоминало старинную крепость с башнями. И была эта крепость, собранная из белого кирпича, поутру розовой, днём беломраморной с прожилками раствора, а к вечеру красновато-серой, печальной. За работой студенты пели песни, большей частью знакомые Тане. Но чаще других они заводили протяжную, как степь весной, одну песню на непонятном языке. Сейчас, когда по приглашению Зоси Таня подходила к стройке, она услышала эту песню:

Гаудеамус игитур,
Ювенес дум сумус!

Виват академия!
Вивант профессорес!

Таня остановилась в проулке и издали увидела Зосю. Вместе со всеми на краю крепостной стены она работала будто бы медленно, и кирпичи в её руках, в брезентовых рукавицах, ходили и укладывались плавно, и в лад работе плыла в степь загадочная эта песня.

Девочка не решилась подойти поближе, и сердце её сжималось от любви и ревности, когда она видела, как запросто, хлопая по плечу, с Зосей разговаривают её товарищи.

«Не буду я отвлекать её от работы,— думала Таня.— А вечером спрошу, что это за песня».

Так, пока студенты жили в посёлке, Таня ни разу не подошла к стройке.

Вечером за ужином Зося поблагодарила девочку:

— Спасибо, Таня, за медицинскую помощь. Чудо! Мои руки зажили. Нам рукавицы хорошие привезли. Ой, ой, ой! Что я делаю? Тарелку супа съела. Моя бедная фигура!

— Голод — не тётка,— поучал Танин отец.— На печь от него не залезешь.

А мать успокаивала:

— От одной тарелки ничего не будет.

При звёздах гостя и Таня сидели на крыльце, и девочка спросила:

— Зося, какую песню вы поёте? На каком языке?

Гаудеамус игитур,
Ювенес дум сумус!

Виват академия!
Вивант профессорес!

— Запомнила! — всплеснула руками Зося.— Эта песня называется «Гаудеамус». Никто не знает, сколько ей лет. Может быть, триста, может быть, больше. Она написана на латыни. Такого языка сейчас нет. На нём разговаривали древние римляне. Эту песню поют студенты всего света. Хочешь, чтобы я перевела слова, которые ты запомнила?



Я плохая переводчица. Слушай. «Итак, будем веселиться, пока мы молоды. Да здравствует университет! Да здравствуют профессора!» Нравится?

— Нравится.

— Скоро ты будешь студенткой и будешь петь эту песню со своими товарищами.

— Не скоро...

— Звезда упала! — встрепелась Зося. — Пойдём?

— Не дойдём, — вздохнула Таня.

Зося попросила умоляюще:

— Пойдём. Пожалуйста!

Они пошли в темноту.

Степь обняла их дыханием тучной земли, полыни, спелой соломы и поздних цветов.

Опять упала звезда.

Таня сказала:

— Осень скоро.

— Осень?

— Звёзды всегда падают ближе к осени и самой осенью.

— Я живу в Варшаве, и у нас звёзды не так видно, как здесь, в степи.

Шли долго, пока не устали. Домой добрели еле-еле и сразу уснули.

Дни становились короче, а ночи длиннее, и звёзды всё чаще и чаще срывались с неба и сгорали, не долетая до степи, боялись спалить её, эту высушенную горячими ветрами степь.

Как-то Зося спросила:

— Степь ровная. А там холм. Один. Почему?

И Таня рассказала поверье:

— У речки Хвалы жил большой змей. Днём он спал в камышах, а ночью нападал на коров и за один раз съедал корову. Люди боялись его и не знали, как от него избавиться. Нашёлся один смельчак, парень восемнадцати лет. Звали его Иван. Он говорит старикам: «Дайте мне ружьё с двумя стволами, и я убью страшного змея». — «А не побоишься?» — «Нет». — «Если не побоишься, — сказали старики, — и убьёшь

змея, мы тебе дадим корову и женим тебя». Дали ему ружьё, двустволку. Иван засел в засаду и ночью видит: змей ползёт. Глаза у него как фонари горят. Иван выстрелил по одному глазу — глаз погас. По второму — и второй глаз погас. Змей умер. После всей деревней ходили его зарывать. От этого и получился холм. Ивану подарили корову и женили на самой красивой девушке.

Зося слушала как будто рассеянно, и Таня спросила застенчиво:

— У вас в Польше, наверное, тоже рассказывают разные истории?

— Много. Вот послушай. Ехал королевич ночью по лесу и слышит: на озере девушка кричит. Королевич к озеру поскакал. Там девушка тонет. Он хотел её спасать, а она спрашивает: «Ты — королевич?» — «Да». — «Не спасай меня. Я тебя утоплю, потому что я Русалка». Она красивая, волосы золотым гребнем гладит. «Я возьму тебя во дворец!» — говорит королевич. «Я не могу жить во дворце, потому что я Русалка». — «Панна моя, — говорит королевич, — проси у меня всё, что хочешь». — «Ничего мне не надо. Только приходи сюда и смотри на меня». Королевич приходил сюда. А потом началась война, и королевич пошёл воевать. На войне его убили и похоронили в поле. Русалка ждала его и думала, что он полюбил другую. Спала она на дне озера, и ей приснился сон: холм в цветах. Она поняла, что это могила королевича. «Милый королевич, — позвала она, — приходи ко мне во сне, и я буду очень счастливой». Пришли рыбаки с богатым паном, закинули сеть в озеро, поймали много рыбы и Русалку. Лицо у неё прекрасное, руки белые, а вместо ног — хвост, как у рыбы. Она задыхается. Рыбаки хотели сеть разрезать и Русалку отпустить в озеро, но пан не велел. «Сеть очень дорогая!» И спрашивает Русалку: «Чего тебе надо?» Она задыхается и говорит: «Принесите мне цветов с могилы моего королевича».

Зося замолчала, а Таня спросила не сразу:

— Она жива осталась?

Зося пожала плечами.

— По-разному рассказывают. Чтобы не было грустно, можно думать, что она осталась жива.

Она погладила Таню по голове и сказала бодрым голосом:

— Меня жених любил, и я его любила. А потом он бросил меня и женился на другой. Это грустно или весело? Возможно, это весело.

Таня не знала, что говорить.

— Холодно.— Зося встала с крыльца и поёжилась.— Очень холодно. Пошли спать? Совсем скоро осень.

Последние дни в степи заметно похолодало. Теперь Зося ела наравне со всеми: супа полную тарелку, каши тоже и даже не отказывалась от добавки.

— Что я делаю? — жаловалась она.— Моя бедная талия!

— Поправляйся, поправляйся,— говорил Танин отец.

— Главное — здоровье,— вторила мать.

А Зося уморительно закатывала глаза и вопрошала:

— Хочу быть тонкой, но аппетит! Господи, что мне делать с этим аппетитом?

Ближе к сентябрю студенты уехали. Это произошло неожиданно — прибыл автобус, забрал их, и Таня не успела проститься с полькой.

Дворец культуры студенты возвели до второго этажа, обещали приехать будущим годом и достроить, и впервые Таня пришла сюда. Стены сыро пахли раствором и кирпичом, и в окнах ходил холодный ветер и пробовал петь по-своему.

Гаудеамус игитур...

— Ювенес дум сумус! — сказала ветру Таня, потрогала сырую стену и заплакала. А ветер выл, и Таня ему ещё сказала:

Виват академия!

Вивант профессорес!

Слов этой древней студенческой песни девочка больше не знала.

Она постояла у стены, подышала влажным запахом стройки и пошла домой.

ЛОДКИ НА БЕРЕГУ ТОЙМЫ

На берегу речки Тоймы лежали лодки большей частью днищами вверх. Лодок было много, целое лежбище. Наплавались они вволю, прилегли отдохнуть от трудов праведных и забылись неглубоким сном.

Я любил глядеть на них.

Тойма обмелела, выпили её июльские жары, и лодки, серые от пыли, лежали далеко от воды и вспоминали в полусне, как весной хозяева ловили брёвна в широкой вольной воде, как плавали хозяева на стальных сильных моторах, а то и по старинке — на вёслах, как от опасной волны или от скорости потрескивало дерево обшивок.

Есть что вспомнить лодкам.

Однажды настиг меня дождь на берегу Тоймы. Собирался он долго, облако к облаку, и вдруг пролился тяжёлыми, в отвес, струями.

Я закрылся ладонями, как от ударов, кинулся туда-сюда, подлез под первую встречную лодку и лёг животом на песок. Песок был тёплый, и, лёжа на нём, вдыхая запах смолы, я слышал, как над головой дождь бьёт по звонким просмолённым бортам и стекает на землю.

Я положил голову на руки, закрыл глаза, и подумалось мне: хорошо бы так побыть подольше, слушать дождь, вдыхать запахи смолы и речной свежести, не помнить, сколько тебе лет, и верить, что родные и близкие твои все живы и жить легко и славно. Вот-вот ты придёшь к матери и повинись:

«Мама, прости: подрался я...»

«Опять?»

«Не хотел я... На меня мальчишки напали».

«Не хотел, а подрался. Когда это кончится?»

«Я больше не буду-уу!..»

В глубине лодки я услышал шевеление и вздрогнул.

Кто это?

В потёмках я разглядел двух мальчуганов. Они тесно прижались друг к дружке, будто зябли, хотя здесь заго-

стилось тепло, и смотрели на меня испуганными глазами.

— Здравствуйте,— поздоровался я.

— Здравс...

Один был маленький, лет четырёх, держал палец во рту и, застигнутый моим взглядом, всё собирался вынуть палец изо рта, да не решался, ждал, когда я перестану смотреть на него. Второй был постарше, лет, наверное, шести, и смотрел на меня посмелее.

— Дядя,— сказал он,— мы жука нашли!

— Покажите.

— Вот он, вот!

Дети завозились, проталкиваясь ко мне, и на песке я разглядел чёрного, глянцевого, в листок расплющенного жука с тонкими лапками.

— Он мёртвый,— объявил старший с гордостью.— Он совсем мёртвый!

А младший добавил:

— Он силач.

— Это вы его убили? — спросил я, вероятно, с некоторой строгостью в голосе.

Дети отозвались упавшими голосами:

— Мы его не убивали.

— Мы не знаем, кто его убил.

— Мы его тут нашли!

Дождь пошёл сильнее. Вся лодка звенела от кормы до носа, и неширокое пространство между кромками бортов и песком было сплошь закрыто дождём, словно зыбким прохладным стеклом. Вода подтекала мне под правый бок, и я отодвигался от неё. Теперь она подтекала под левый бок, и я сел было на песок, но больно стукнулся головой о скамейку и опять лёг.

Мальчик постарше спросил меня про жука:

— Он оживеет?

— Не оживеет,— поправил я,— а оживёт. Да, если хочешь знать, он оживёт.

— Сейчас? — встрепенулся маленький.

— Ну... Не сейчас. А вот когда дождь кончится.

Дети заговорили наперебой:

— Дождь скоро кончится!

— Жук и теперь живой, только мёртвый.

— Он вон какой страшный!

— Он не кусается?

Они смотрели на меня и были очень похожи лицами и движениями. Я спросил:

— Ребята, вы, наверное, родные братья?

— Нет,— с сожалением ответил младший,— мы не братья.

А старший уточнил:

— Мы — знакомые.

И заговорили в два счастливых голоса:

— Дождик кончается! Дождик кончается!

А дождь всё набирал силу, и думалось: не устанет, не утомится этот упрямый, среди жары хлынувший, прекрасный дождь, пока не напоит землю досыта, до корней сладкой небесной влагой.

Под лодкой похолодало, дети озябли и стали дрожать. Я накрыл их своей курткой. Они притихли, и мне показалось, что они засыпают. Дождь стихал.

В просветах между кромками бортов и песком, где капли выбили бороздку, было светло от солнца, а вылезать на свет не хотелось ни мне, ни детям. Им было хорошо под моей курткой, и в глазах их угадывалось желание побыть здесь подольше.

Мы выбрались на свет и зажмурились от солнца.

При свете дня дети оказались меньше, чем там в потёмках, под лодкой, и они жались один к другому, словно бы стеснялись, что оба такие маленькие.

— А жук-то? — вспомнил старший.— Дождь кончился. Жук-то оживел!

Я почесал в затылке и велел:

— Несите его сюда.

Теснясь, они полезли под лодку и нескоро выползли наружу. Старший протянул мне жука в открытой ладонке и сказал со страхом:

— Вот он.



Я взял жука из мокрой ладони ребёнка, сжал пальцы, сделал важное лицо и торжественно произнёс первое, что пришло мне в голову:

— Ловись рыбка, большая и маленькая.

Не меняя важности в лице, я быстро-быстро покрутил рукой, будто совершая волшебное действие, и что было сил кинул мёртвого жука в Тойму — в мутную воду, по которой плыли и лопались пузыри.

— Живи! — приказал я.

Дети закричали от восторга:

— Он оживёт!

— А потом опять умрёт.

— Потом всё равно оживёт.

— Он сильный.

— Он как сильный человек!

— Он сильнее.

Дети смотрели на меня с ожиданием нового чуда. Но какое ещё свершить чудо, я не знал. Старший спросил:

— Вы коровий язык понимаете?

— Понимаю, — ответил я.

— А воробьиный?

— И воробьиный понимаю. Воробьях трещит: тра-та-та-та-та! А воробей не так, воробей чирикает: чирик, чирик. Или даже не чирик, чирик, а чив, чив, чив!

Теперь спросил младший:

— А слонячий язык?

— Вот этого языка я не знаю, — признался я. — В Африке не был.

Мы простились.

— Вы приходите к нам ещё!

— Обязательно приду, — пообещал я.

Дети побежали домой, благо дом их был у самой Тоймы, а я пошёл вдоль воды.

После дождя речка раздалась, осмелела, и посередке, по стрежню, бежала быстрее, а у берегов спокойней и степенней. Спешила она, будто большое дело делала и от этого дела

зависела судьба городка и моя судьба, чьи отражения она несла на себе.

А вдоль берега, чёрные и блестящие после дождя, лежали лодки.

Они проснулись и словно бы поводили промытыми округлыми боками.

И мне думалось: лодки знают, что я гляжу на них, и ждут, что я выберу которую-нибудь, столкну в воду, сяду за вёсла и поплыву в дальнюю-предальнюю сторону.

Далеко эта сторона, отсюда не видно.

НОЧЬ НА ОЗЕРЕ

Дедушка привёз Славку в луга, в ночное — коней пасти и ночевать у костра.

— Пойду дровишек пошарю,— сказал дедушка.— Ночь-то долгая. Ты посиди, сейчас ребятишки придут.

Славка разглядывал траву. Сколько здесь всяких листочков, стебельков, жилок, зелёных жалец! Тузик лёг рядом, внюхиваясь в траву, ухватил зубами заветренную макушку белого корешка и схрупал его вместе с зеленью. Славка отыскал точно такой же корешок, вырвал из земли и, зажмурившись, съел без остатка.

Тузик зарычал — недалеко стоял рябой татарчонок и прятал руки за спину.

Славка закричал:

— Эй!

Татарчонок покраснел.

— Ты кто? — смягчился Славка.

Татарчонок потупился и прошептал:

— Шакир.

— Иди сюда,— великодушно разрешил Славка.

Татарчонок подошёл, сел на траву, застеснялся своих грязных ступней и сел по-другому: ступни под себя. Славка вырвал из земли два Тузиковых корешка, вытер о штаны, один затолкал себе в рот, другой протянул татарчонку.

Тот сконфуженно принял угощение, вежливо съел, достал из кармана два жёлудя и положил их перед Славкой.

Славке хотелось немедленно отблагодарить гостя за такие красивые жёлуди, и он выпалил:

— Спасибо.

Татарчонок робко улыбнулся — в благодарность за звонкое слово, и Славка на недолгое время пожалел, что не удержал редкое слово при себе.

Дедушка принёс гору сушин, разжёг костёр, и вокруг потеплело. На огонь пришли мальчишки и похвалили дедушкин костёр, но дедушка молча тюкал топориком, и самый старший, Саня, в сапогах с отворотами, догадался:

— Ребя, за дровами!

Ребят как ветром выдуло в темноту.



— Кашу есть будешь? — спросил дедушка.

— Буду, — жалобно ответил Славка.

Он сидел на самой черте света и темноты и со страхом припоминал, что почти не ел сегодня.

Из темноты конь Буско подышал на Славкин затылок и отошёл.

Вернулись ребяташки оравушкой, и все вместе принесли столько дров, сколько один дедушка.

Дедушка расставил несколько тарелок, положил перед каждым ломоть хлеба и глубокую деревянную ложку. Славка обнаружил, что рядом устроился татарчонок и смирно ждёт дальнейших действий дедушки.

Славке захотелось обнять татарчонка, который вместе с большими мальчишками ходил за дровами, но в это время Тузик тоскливо зевнул из темноты:







«Дал бы хлеба, что ли!»

Славка отломил долю от ломтя, кинул её Тузику и замер: за озером в камышах сидело красное рогатое существо и курило табак.

— Что это там такое красное?! — в ужасе спросил он. Все повернулись туда, куда указывал Славка.

— Луна, — разочарованно протянул Кудея — паренёк со светлыми кудрями.

А дедушка попробовал кашу из закопчённого ведра, крикнул и прибавил:

— Волчье солнышко.

Оравушка грохнула смехом, и Славка растерялся. Татарчонок легонько толкнул его в бок, отодвинулся, освобождая место перед тарелкой.

— Ешь.

Славка зачерпнул ложку с верхом, обжёгся кашей и горько заплакал. Он плакал оттого, что над ним недавно

смеялись, что страшное существо в камышах оказалось луной и что он обжёг язык и нынче ему по-настоящему уже ни за что не распробовать каши. Шакир взял у него ложку и сострадательно дул на неё, пока Славка не перестал реветь.

— Хороша каша,— сказал дедушка.— Сам не похвалишь, так кто похвалит?

Ребятишки сдавленно засмеялись, и Саня сказал за всех:

— Мы коней ковали. А ты, Карпыч, мне тогда сказал: «Чего это у тебя сегодня не ладится? Каши, что ли, мало ел?» А я только что с рыбалки, рыбы не поймал, поесть не успел. А ты, Карпыч, меня прогоняешь: «Там в углу чугунок с кашей. Погрей и поешь». Я погрел на горне и поел. И всё верно, подковы в руках стали мягче, поддаются, подгоняются. Коней подковали, обули честь честью.

Все посматривали на дедушку, что он скажет, но он сосредоточенно ел: подует на ложку, возьмёт с края кашу в рот, подержит там, помнёт языком, притронется нёбом, дёснами, уважит её во всех подробностях, потому что она, как и хлеб-батюшка, как и всё на свете, просто так Ивану Карповичу не достаётся.

— Скорохлёбы вы,— укорил дедушка.— Наелись, что ли?

Ребятишки заработали ложками. После был чай без сахара — с хлебом, по тем же блюдам и ложкам. Чай очень понравился Славке: он был вроде бы как чай и как суп и не очень горячий.

После ужина дедушка забеспокоился:

— Ребятишки, надевайте на себя всё, что есть. К утру прохватит. Иней может сыпать. Утепляйтесь.

Всё тепло сидело у Славки в животе; ногам, рукам и голове было холодно, а от дедушкиных слов стало ещё холодней.

— Держите-ка,— предупредил дедушка, и полушубок шмякнулся на Славку и придавил его вместе с татарчонком. Оба затаились под косматой тяжестью, пока ещё холодной, подрожали, согреваясь, послушали...

— Луна-то чего делает! — Саня прятал огонёк самокрут-

ки в рукав шубняка. — А рыбы-то, рыбы-то сколько на зайчике!..¹

— Ребятишки, дай-ка послушаем...— Дедушка привстал на коленях.

В темноте ходили кони, внизу в озере полоскали бельё или аукались. Славку вытолкнуло из угретого гнезда. Над озером Сорокоумовом висело волчье солнышко. От него с того берега на этот наведён золотой мост — глазам было больно смотреть на огонь в озере.

Огонь жил: в нём лопались круги, всплыла и затонула спина — и жутью отозвалась в Славкином сердце.

— Слышали? — Саня поднялся на ноги. — Рыба вся на зайчике! Вон чего делает! Вон чего!

— Вон чего! Вон чего! — на разные голоса заухала оравушка.

Дедушка сказал Сане:

— Ты бы на зайчике-то порыбачил.

— Крючка нет.

— А у меня есть, — улыбнулся Куделя, и его улыбка сверкнула в свете костра и погасла. — У меня червяков нет.

Дедушка махнул рукой на зайчик:

— А ты на хлебушко.

И ребятишки скатились в темноту, сорвали с места ветер, и Славка озяб у огня.

Тузик убежал со всеми, и внизу слышалось его возбуждённое повизгивание. Скоро темнота опять затрещала кустами и оравушка высыпала на свет.

— Что быстро? — спросил дедушка.

— Лодку надо, — сказал Саня. — Зайчик-то далеко.

— А вы присядьте, мужики, у самой воды, — посоветовал дедушка, — зайчик будет близко. И к нему на стремя кидайте.

Куделя показал талинку-удилище:

— Не коротко?

— В самый раз, — ответил дедушка. — Чем ниже, тем зайчик ближе.

¹ Зайчиком в Прикамье зовут лунную дорожку на воде.

Ребята опять покатались в сырую темноту. Отсюда сверху Славке и дедушке было видно, как ребячьи тени с круглыми головами грудятся у золотого моста.

Внизу загалдело, и вся оравушка вкатилась в костровый круг.

— Куделя плотицу поймал!

— Ка-ак она утянула! Да в траву. Мы думали: что это такое?..

Куделя приоткрыл мокрые ладошки, и в них красно заплесала рыбка.

«После холодной воды, — подумалось Славке, — она радуется костру и людям».

— Мала больно, — сказал дедушка.

Куделя зажал рыбку в кулаке и бросил её в озеро — она упала посредине зайчика. Саня вздохнул:

— Зачем ты её отпустил?

— А мы другую поймает! — Куделя стряхнул чешую с ладоней и весело полез обратно к озеру, а за ним и вся оравушка.

Славка увидел Шакира: он стоял рядом в блестящих от росы штанах и дрожал.

Глазёнками и сведёнными губами Шакир радовался Славке.

Дедушка взял малышей под мышки и отнёс их, давящихся смехом, под полушубок.

— Чтобы мне спать, — осерчал он. — Уши нарву!

Они с головой спрятались под полушубок, и Славка сообразил, что сейчас самое время поговорить с Шакиром.

— Ты ел? — спросил он счастливым шёпотом.

— Ел.

— А чего ты ел?

Славка наизусть знал, что ответит татарчонок, и от этого радовался ещё больше.

— Кашу.

Помолчали. Шакир всё ещё дрожал, и Славка тоже стал дрожать, хотя ему не было холодно. Разговор продолжал татарчонок.

— Ты ел? — спросил он Славку.

— Ел!

— А чего ты ел?

— Кашу!

Пока Славка думал, о чём бы поговорить ещё, он потихоньку заснул, проснулся от голосов и приподнял край полушубка — в лицо полыхнуло холодом и жаром. Все сидели у костра.

...— А что такое будет, — спрашивал Санин голос. — У книги шесть страниц простых, а седьмая — золотая.

— Неделя! — отгадал кто-то.

Дедушка повернулся на Славкино шуршание, и тот юркнул под полушубок и надолго затаился там. Татарчонок храпел и этим вызывал дополнительное уважение. Поуважав про себя татарчонка, Славка выглянул наружу.

Теперь спрашивал дедушка:

— В каком месяце говоруньи меньше всего болтают?

Куделя тут же откликнулся:

— А в сентябре!

— Почему это? — не поверил дедушка.

— А некогда: картошку надо копать.

Дедушка улыбнулся:

— Разве их картошкой проймёшь?

— В феврале, — сказал Саня. — В нём дён меньше.

— В самую точку! — похвалил дедушка.

— Я её раньше слышал, — признался Саня.

Набежало таловое облако от костра, застоялось и обволокло Славку сном.

Он проснулся оттого, что напекло голову, заслонился от жары воротником полушубка и послушал дедушку.

— Взяли меня немцы в плен. Привели в будочку у железной дороги. Показывают на лавку и лопочут. Дескать, будешь на нас работать. И толкают. Тут у меня терпения не осталось. Я постучал их друг о друга — они как снопы повалились. Винтовки я забрал, четыре штуки, дверь у будочки приоткрыл и себе загадываю: ветру нанесёт, они и одумаются. Винтовки я отдал взводному. Через

день или через два Брусилов говорит: «Наступать!»

— Вот, наверное, немцы-то удивились, — прыгал Куделин голос. — «Что за русский? Что за мужик? Да таких-то мужиков и не бывает вовсе! И зачем мы с ним связались?»

— Им и удивляться-то было некогда, — рассудил Санин голос. — Тебе, Карпыч, Георгия не за это дали?

, — Георгия за разведку мне дали.

Куделин голос спросил:

— А немцы — народ крупный?

— Упитанный народ, — не сразу отозвался дедушкин голос. — Но против нас они слабы. Плохо ли, бедно ли, а мы их тогда погнали. А у нас ничего не было, кроме винтовок. Я за всю войну пулемёт в глаза не видел! Говорили, в седьмой роте есть пулемёт, да и тот с кривым дулом. Царское время тогда было, господское.

Славка дальше не слушал — он спал.

Он проснулся от духоты и выпростал лицо из-под полушубка.

Костёр широким столбом уходил в небо, гудел в невидимой трубе. Все спали, один Саня, горбясь под шубняком, кидал в огонь талины.

Славка почувствовал: что-то должно сейчас произойти!

Проворно вскочил дедушка, замахнулся на всех и закричал страховидным голосом:

— Этаких-то ночевальщиков мне на дух не надо!

На самом деле дедушка не замахивался — он прихлопывал тлеющую штанину, но Славка, задыхаясь от восторга и страха, убежал в темноту вместе с ребятишками, и от росы у него заломило ноги.

Понемногу ребятишки вернулись к костру, — он быстро прогорел и теперь пучился золотой опарой и опадал.

Все улеглись.

Татарчонок по-прежнему храпел, будто большой мужик.

Славка увидел, что озеро вышло из берегов, подступает

к костру, синие волны дымятся по траве и кони ходят по колено в воде...

— Озеро-то как разлилось! — вырвалось у него, но ребяташки охладили Славку усталым шёпотом:

— Туман это!

А дедушкин голос отозвался со сладкой попевотой:

— Птичье молоко.

Куделин голос вставил:

— Русалочьи твороги — я ещё так слышал...

Дедушкин голос улыбнулся:

— Вдовушкин полушалок...

Разговор оборвали стук копыт и безумное ржание лошади. Наискось от озера неслась Свеча — поверх тумана вскинута голова на длинной шее. Ржание слабело, умерло и ожило в другом месте — за спиной у Славки.

— На кругах... Волки! Да много.

Ребятишки сбились в табунок и швыряли в огонь палки. Саня кинулся в туман, но дедушка остановил его грозным окриком:

— Уши нарву!

Тузик прижался к Славке и простудно дрожал, а Славка ворочал головой за голосом Свечи и всем собой слышал, что рядом в тумане таится зло — пострашнее всего, что он встречал раньше.

— Эй! — закричал дедушка, выхватил головешку из костра и тяжело побежал в потёмки. — Э-э-эй!

За ним, тоже с факелом, попевал Саня.

Дедушкин и Санин голоса недолго плавали в тумане и смолкли. В Славкин затылок дышал Буско, другие кони тоже жались к огню. Костёр опять взялся широко, с гудом. Туман загустел и вдруг ослаб, когда дедушка и Саня привели Свечу. Она хромала.

— Ребятишки, — сказал дедушка, — коней посчитайте.

И тут дедушка увидел Славку.

— Сынок, ты чего это не спишь? Ты чего сумерничаешь? Ай-яй-яй-яй...

Славке очень хотелось спросить, поймал ли он волка, но

в глазах и голосе дедушки было много укора, и мальчуган покорно залез под полушубок, где похрапывал могучий Шакир, и закрыл глаза.

Постепенно все звуки земли слились в скрип зыбки, которую качала большая белая рука матери с золотым колечком на пальце...

Зайчик плавал по красному колечку, на него было нестерпимо смотреть. Славка покрутился под полушубком и сел.

У ног лежало озеро Сорокоумово, в нём отражались дубки, Буско, дедушка с ребятишками.

А посреди озера плавал длинный зайчик; над ним переливался зайчик покруглее и посветлее — солнышко.

— Иди к нам! — не громче травы позвали его. За спинами ребятишек Шакир показывал Славке седую картошку, испечённую в костре.

— Иди к нам!..

Славка встал. Его повело от простора и света и тут же прохватило холодом с озера и выдуло весь сон.

С высоты Славкиного роста озеро раздалось, и мальчуган увидел ещё одно солнышко потемнее — оно плавало в ближнем заливе — и слышал голос матери.

Мать в это время была далеко в деревне, молча доила корову, и услышанное Славкой, конечно, не было её голосом: в камышах камышовка выпила три росинки и теперь продувала горлышко; тальники сохли на ветру, распрямлялись и разговаривали сами с собой; коростель прямо с дороги пробовал свою трубу и что-то был ею недоволен; падали росинки в озеро и чистая рыба — голавль, обманываясь, кидалась на их чмокание — не стрекозы ли падают в воду; из деревни по парной струе воздуха приплывал обрывками петушиный крик; жевали и грустно вздыхали лошади; над лугами стоял неслышный вздох — раздышивалась, приподнимала лёгкий прошлогодний прах, поутру сильно росла трава; костёр и разговор около него тоже были общей музыкой утра. Она, эта музыка, припомнила Славке недалёкое время, когда он не разбирал на слух большинство слов матери, но угадывал их доброту и любил их звучание.

Вот почему в начале дня Славка услышал голос матери и огляделся: где она?

С какой стороны придёт сюда?

А день начинался — без волков и страхов, и Шакир в третий раз позвал Славку:

— Иди к нам!

Славка подумал, что, может быть, там вместе со всеми сидит мать, и побежал к костру, к людям.

ОХОТНИЧИЙ РОГ

Мне надо было засветло поспеть на переправу через Вятку, и я быстрым шагом шёл по лесной тропинке.

Ветра не было, леса осыпались медленно и ровно, и день и ночь стекал на землю чистый, без червотчины, лист и выстилал её, тихий, как туман.

Падал он на землю без печали. И деревья стояли без печали, и не потому, что листа на них оставалось ещё много, а потому, что им с рождения заповедано: осенью отходить ко сну, а весной просыпаться, одеваться юной листвой и гнать по лесу зелёный перекатный шум.

Грибы ещё не сошли, но собирать их мне было некогда, и я старался не смотреть по сторонам, чтобы они не заманили меня.

И всё-таки недалеко от тропинки я увидел литую бронзовую шапку подберёзовика и не удержался — пошёл сорвать его. Да и кто бы удержался на моём месте?

Голой ладонью я дотронулся до бронзовой поверхности и ощутил холод выстуженного металла. Что это такое? Я взялся за находку всеми пальцами правой руки и выворотил на свет божий длинный медный охотничий рог. Я очистил его от земли и прелых листьев, осторожно, как некий капитан пепел из своей любимой трубки, выколотил землю о ствол берёзы — рог звенел, и по звону было понятно, что в нём много серебра.

Поднатужившись, я отделил от трубы мунштук — тяжё-

лый полый наконечник, предназначенный для того, чтобы зажимать его губами и дуть, трубить на весь лес. Тонкой палочкой я прочистил его насквозь, продул, вставил на место и оглядел находку.

Сторона, которой прежде рог прижимался к земле, была светлой, а остальная часть — чёрной или густо-зелёной.

Палыми листьями и землёй я продраил его, не жалея сил, и рог со всеми своими вмятинами засиял, как молодой месяц.

Теперь он не был таким холодным, как раньше, ему передалось тепло человека, и мне захотелось затрубить от радости.

Я приложился губами к мундштуку, отдающему медью, и стал дуть — рог молчал. Во всяком случае, кроме моего пыхтения и сопения, я ничего не услышал.

«Может быть, рог испорчен? — подумал я. — В нём чего-нибудь не хватает: язычка какого-нибудь или горошины? Да нет, в нём всё есть, охотничьи рога устроены просто, без премудрых язычков и горошин, и ты это прекрасно знаешь. Ты не умеешь дуть, да и руки у тебя чёрные, в земле...»

Я увидел, как на небе дрожит большая звезда, а рядом с ней две звёздочки поменьше, и спохватился:

— Не успею я на переправу, заигрался я.

Где шагом, а где и бегом я заторопился к переправе и затемно вышел на крутой вятский берег под небо, осыпанное звёздами.

Ни лодки, ни парома, конечно, не было. На том берегу слабо светилось окошко бакенки — избушки знакомого бакенщика Михаила Петровича.

— Петрови-иич! — закричал я. — Лодку дава-ааай!

Хлопая крыльями, невидимые утки поднялись с воды и со свистом полетели вниз по реке.

— Петрович, усну-ууул? Лодку дава-аай! Лодку-уу... Лод-кууу-ууу...

Тот берег отвечал эхом, очень похожим на голос Петровича, но я-то знал, что это не Петрович, а эхо. Передразнивало оно меня добросовестно и с некоторой насмешкой.

А когда я охрип, оно тоже охрипло и в отличие от меня стало повизгивать.

Я вымыл руки в Вятке, их заломило от холодной воды, и мне захотелось погреться у печки или у костра.

Вятку заволакивало сырым туманом, бакенка в нём пропала, будто её и не было. Туман дотрагивался до моего лица, дышал в него, и я чувствовал, как моя одежда волгнет, набухает влагой.

Спичек у меня с собой не было. Человек я некурящий, на краткую прогулку зачем мне спички? Я изучаю деревья и травы, и спички ношу с собой только тогда, когда иду на природу надолго или на ночевую. А нынче ночевать в лесу я не собирался, обещал Петровичу вернуться засветло и не сдержал слова — охотничий рог помешал. Вот он лежит рядом со мной, опять холодный как лёд, дотронуться нельзя.

Тут я вспомнил...

Когда это было? Точно и не вспомнишь, когда. Был я пионером, носил красный галстук, и один раз в жизни мне дали «погорнить» — попробовать трубить в настоящий новый пионерский горн. Наш горнист Алёша Решетов, мальчуган небольшого росточка, и на гармонии и на баяне играл смело. Хотя из-за баяна Алёшу и не было видно, все мы его уважали за талант. Один раз остановил он меня и говорит:

— По глазам вижу — тебе охота погорнить. На горн, погорни. Только ты дуй не как ветер, а по-другому. Губы сожми, язык подай к зубам и дуй в мундштук. Попробуй.

Тогда у меня не получилось, горн сердился и хрипел, но Алёша похвалил меня:

— Ничего. Не всё сразу.

А что, если попытаться по Алёшиной науке трубить в охотничий рог? Попытка — не пытка.

Я прижал к губам ледяной мундштук, в котором мне почудился запах табака, и по всем правилам затрубил. Рог отозвался досадливым кряканьем. У меня заболели щёки от натуги, когда, наконец, рог с неохотой подал трубный, несколько торжественный глас:

«Тру-ру-ру-ру-ууу...»

— Что же,— сказал я,— для первого раза неплохо.

И замер — я услышал шлёпанье вёсел в тумане.

— Петрович? — громко спросил я.

Вёсла шлёпать перестали, и туман в свою очередь спросил меня простуженным голосом бакенщика:

— Тимофеич, ты?

— Я...

— Что это у тебя за музыка?

— Охотничий рог я нашёл.

— Ааа...

И опять зашлёпали вёсла.

Вот лодка ткнулась в берег, заскрипел песок под днищем, зачем-то загремела цепь, и Петрович, плохо различимый из-за тумана, пригласил меня в лодку.

— Петрович, разреши сесть за вёсла?

— Замёрз?

— Зуб на зуб не попадает!

— Потерпи. На вёслах ты не туда причалишь, а я дорогу домой с закрытыми глазами найду.

— Холодно-ooo...

В бакенке, тесной и низкой, как банька, я пил горячий чай и всё не мог согреться, а Петрович держал в руках охотничий рог и говорил с уважением:

— Вещь.

Разомлев от чая, я сказал великодушно:

— Подарить тебе?

— Не-еет,— сказал Петрович.— Не надо.

И от греха подальше положил рог передо мной, на дощатую столешницу, отодвинулся и повторил:

— Не надо: вещь больно дорогая.

От горячего чая меня прошиб пот, и я похвалил хозяина:

— Ну и Петрович, ну и чаевар! Такого чая я давным-давно не пивал. Тебе чайхану надо содержать, а не бакенку.

Петрович растрогался и сказал:

— Я тебя, Тимофеич, ждал до последнего. Стемнело. Думаю: Тимофеич ночует на кордоне, а завтра утром я его встречу. Попил чаю, лёг, потом думаю: лодку-то я хорошо ли



привязал? Вышел к лодке и спросонок слышу: никак, лебеди кричат? Как же так, думаю. Лебеди у нас пролётом, а ночью я не слыхивал, чтобы они летели. Потом слышу: на той стороне кашляют, чихают, утки крикают. Я — в лодку и поплыл. А это ты с инструментом занимаешься.

— Кто его потерял, как ты думаешь, Петрович? — спросил я. — Если кто-нибудь из твоих знакомых, я оставляю его тебе. Ты и передашь из рук в руки.

Хозяин подумал и ответил:

— Нету у меня таких знакомых. Охота в наших краях запрещена, я и не знаю, на кого подумать. Может, он давно, с прежних времен, лежит. Не знаю, чей он.

— Я тоже не знаю...

— А вещь дорогая, старинная.

Мы поговорили ещё, потом Петрович задул семилинейную лампу, и мы легли спать. Спал я крепко, и мне снились лебеди, охотничий рог из серебра и листопад. В безветрии днём и ночью листья стекали на землю, и не было печали в их лёгком прощальном полёте.



СОДЕРЖАНИЕ

5	ДЯТЕЛ
11	ПОЕХАЛИ С ОРЕХАМИ!
17	ЗАГАДАЮ ЗАГАДКУ
21	ВЕРТОЛЁТ
27	ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН
31	ЧЕРЕМУХА С БЕЛЫМИ ЯГОДАМИ
37	ОЗЕРО ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЕВА
43	КОРМИЛЬЦЫ-ПОИЛЬЦЫ
48	ХИТРОСТЬ СТАРОГО БОБРА (рассказ егеря)
54	БОЧАЖОК (рассказ изыскателя)
57	ПОБЕГ (рассказ лесника)
62	РУЖЬЕ
66	РЕЧКА КАРИНКА
71	ТРЕХЛАПКА
76	НАДЯ И ЗАЙЧОНОК
81	ТЕПЛО
87	ЦВЕТУТ ЛИПЫ
91	БЕЛЫЙ КОНЬ
97	ПАННА МОЯ
104	ЛОДКИ НА БЕРЕГУ ТОЙМЫ
109	НОЧЬ НА ОЗЕРЕ
121	ОХОТНИЧИЙ РОГ

Для младшего
школьного возраста

*Станислав Тимофеевич
Романовский*

ОХОТНИЧИЙ РОГ

ИБ № 1976

Ответственный редактор
Л. И. Д о у к ш а

Художественный редактор
С. И. Н и ж н я я

Технический редактор
Н. Д. Л а у к у с

Корректоры
В. В. К у д и н о в а
и *И. В. М а р т ы н о в а*

Сдано в набор 20.06.78. Подписано к печати 20.03.79. Формат 70×90/16. Бум. офсетная № 1. Шрифт обыкновенный. Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,36. Уч.-изд. л. 6,66. Тираж 100 000 экз. Заказ № 432. Цена 40 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавополиграфпрома Госкомиздата РСФСР. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

Романовский С. Т.

Р69 Охотничий рог: Рассказы / Рис. Т. Васильевой. —
М.: Дет. лит., 1979. — 127 с., ил.
В пер.: 40 коп.

Лирические рассказы о детях, о природе; автор показывает природу в единстве с трудом человека, рассказывает о сельском труде.

Р 70802—231 210—78
М101(03)79

Р2

40 ROLL

